



**МАРИЯ  
СЕМЁНОВА**

# БРАТЬЯ

**Книга 3  
ЗАВТРАШНИЙ ЦАРЬ  
Том 1**

Волкодав и его мир

Мария Семёнова

# **Завтрашний царь. Том 1**

«Азбука-Аттикус»

2024

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

**Семёнова М. В.**

Завтрашний царь. Том 1 / М. В. Семёнова — «Азбука-Аттикус»,  
2024 — (Волкодав и его мир)

ISBN 978-5-389-25166-3

Долгожданное продолжение истории о братьях, начатой романами «Тайный воин» и «Царский витязь»! Второй десяток лет длится зима, постигшая мир. Всё свирепее метели, всё беспощаднее морозы, но люди живут, странствуют, отстаивают каждый свою правду... Юный царевич проходит новые испытания, доказывая, что достоин править отеческим городом Шегардаем. Удастся ли ему увезти с собой сестру, которой уже начали подыскивать выгодного жениха? Между тем истинного наследника престола, ставшего витязем, после ранения оставляют отлёживаться в деревне. Его инкогнито раскрыто, и воевода приказывает ему следовать в Шегардай, чтобы наконец прояснить порядок престолонаследия. Но тут приходят неожиданные известия. В далёком краю попали в беду союзники, и воевода спешит им на выручку — успеет ли? А в самом Шегардае ремесленник покупает раба — хромого калеку, почти неспособного говорить. Но почему-то после этого уличные музыканты начинают играть удивительно красивые песни...

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-25166-3

© Семёнова М. В., 2024

© Азбука-Аттикус, 2024

## Содержание

Начин	6
Последний полёт	6
Доля первая	9
Студный день	9
Победушки	24
В Устье	28
В новом доме	31
Варежки	33
На берегу	43
Размятие уха	51
Должок Кербоги	56
Ненужный почин	60
Улица Днище	63
Глиняный мостик	66
Конец ознакомительного фрагмента.	71

# **Мария Семёнова**

## **Завтрашний царь. Том 1**

© М. В. Семёнова, 2024

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Азбука®



## Начин

### Последний полёт

Здесь не было даже плохонького зеленца. Деревянному городку досталась лишь оттепельная поляна у края болот. Если смотреть из-под облаков, крепостца была тёмным пятнышком на краю бедовника, у подножия бесконечных дымов. Западный ветер приглаживал летящие кудлы пара, не давал сразу взмыть вверх. Па́облако пучилось, рвалось, закручивалось исполинской волной – и в отдалении всё равно достигало туч, колыхаясь одной сплошной занавесью от небес до земли. Край света, предел, отведённый смертному человеку!

Люди помнили: на самом деле мир здесь не кончался. По ту сторону болот до сих пор стояли леса. Ещё дальше высилось кольцо острых гор, именуемое Венцом. Во времена, когда строилась крепостца, горы ещё бывало видно в вёдреную погоду. Однако те дни давно стали баснословными, сблизившись в понимании молодых со днями Йелегеновых войн. А Дымная Стена – вот она. Близкая, вещественная. Не рукой тронуть, так стрелой дострелить.

Если спуститься, встать перед воротами – крепостца даже обретала величие. Не утопленная в снежную глубь, как иные северные зеленцы. С крепкими бревенчатыми пряслами, с высоким кровом, уберегающим двор. Углом против тока обычных ветров, ухищенная льдом и снегом, чтобы сохранялось тепло. С воротами за выступом стены, чтобы не закидывало в буран...

И даже сизые хвосты из дровяных печей, грязноватые и ничтожные против туманной Стены, вблизи глядели столпами незыблемого уюта.

...Створки ворот дрогнули, завизжали промороженным деревом, отделились одна от другой. Роняя иней, начали раскрываться.

Первыми, живо вздевая на ноги лапки, выскочили скороходы. Иные, белобородые, помнили, как некогда поспешали стогнами Фойрега: дорогу красному боярину Кайдену! Теперь кричать «поди-примись» было без толку. Подлый народишко весь остался в доме, а позёмка, влекущая в горнило Стены бесконечное дымное покрывало, не оробеет, на стороны не раздастся.

Ворота разъехались чуть шире, выпустили ещё лыжников. Эти были суровые мужи, поджарые, седоусые. В одинаковых кафтанах, нелепых поверх толстых кожухов. По алому сукну на каждой груди золотым шнуром – óзнак: лось, припавший на колено, стрелы веером.

Всё вместе гляделось охотничьим выездом андархского волостеля. Только заблудившимся во времени на пятнадцать годков. У иных лыжников были на руках сокольникови рукавицы. Бархатные, с шитьём и кистями. Все – пустые. Нескончаемая зима угомонила боярскую кречатню, прежде шумную, изобильную. Не стало ни ловчих птиц, ни подсокольных собак. Лишь кафтаны да порожние рукавицы как знамёна проигранных битв.

Наконец с громкой жалобой отвыкших верей ворота разошлись настезь. Внешние, за ними внутренние, открывая зеленоватые огоньки в потёмках под кровом двора. Такое в последние времена бывало нечасто. Дрова добывались всё тяжелей, люди отчаянно сберегали тепло. Вот только ныне бережливость помалкивала.

Двое молодчиков, юноша и подросток, вывели осёдланного оботура со всадником. Владыка Уркараха сидел прямой, гордый. Глаза, подёрнутые как будто ледком с кровавыми жилками, смотрели за небоскат. У правого бедра узорный кожаный тул, у левого – снаряжённый лук в налучи. Сильная рука легко несла сокола. Последнего на кречатне.

Это была царская птица. Белого, бесскверного, чуть крапчатого пера. Не самец-челиг какой, лёгкий, маленький, для женской руки. Боярское запястье попирала истая соколица. Которую, уважая величие и мощь, охотники собственно соколом и зовут.

На клубучке птицы лежал венец маленьких самоцветов, зелёных, голубых. В прежней Андархайне с белыми кречетами охотились лишь праведные. Остальным было заповедано. Даже красным боярам вроде Гволкхмэя Кайдэна. Некогда могучий, непобедимый пернатый ловец, как и люди, оставил славные времена прошлому. Сколько лет его, сбивавшего головы лебедям, напускали на жалких уток, пытавшихся удрать в знакомый хлевок? Последние несколько дней сокольники трепетали. Хозяйский любимец вовсе померк, не радовался свежему мясу, полётам на должике. Взъерошились потускневшие перья, одна ём превратилась в сомкнутый кулачок... Гордый сокол, краса и роскошь царских охот, изготовился воспарить на ту сторону неба.

Птице, привыкшей дремать в тихом полумраке кречатни, не нравился ледяной ветер. Она хрипло вскрикивала, пригибалась на рукавице.

Выпустив боярина, ворота спешно замкнулись. Скутали двор, не потратив лишней крохи тепла.

Станный задался выезд... Ни шума, ни лая, ни весёлого клича. Люди переговаривались шёпотом, боясь потревожить хозяина.

Потоптавшись, шествие потянулось на бедовник.

Пустошь раскинулась сколько достигал глаз, окоём прятала морозная мгла. Раньше здесь были каменные холмы, поросшие лесом. Беда их освежевала, содрав зелёную шкуру. Постепенно в распадках скопился снег... Теперь впереди лежала равнина, гладкая, как новенький холст. Только этот холст всё время двигался, струился навстречу охотникам, с шорохом и тихим посвистом обтекал ноги...

Боярин закрыл сокола полой мехового плаща, птица успокоилась, благодарно притихла.

Отдалившись от крепости на версту, люди остановились. Вот здесь уже воцарилась мёртвая тишина, смолкли все шёпоты. Сокольники тоскливо топтались, один за другим стаскивали ушанки. Старший сын боярина стоял крепко, развернув плечи. Привык уже быть меньшедомком, вторым хозяином. Младший, прижитый от чернавки, прятал хлюпающий нос в высоком меховом воротнике.

Гволкхмэй Кайден высвободил сокола из-под полы. Птица приподняла крылья, ища опоры в ветровых струях. Она знала, что будет дальше. Сейчас рука сдёрнет наглазник, возвращая миру краски и свет. Резко бросит в воздух, указуя добычу...

Вместо привычного движения боярин вдруг заговорил.

– Сиживал ты на руке царевича, славного Гайдияра, – тяжело и скрипуче прозвучал его голос. – После мне вверился. Душу над землёй возносил, красной дичи избивая без счёта... Нажился ли на белом свете, красавец мой несказанный?

Сыновья смотрели во все глаза. Младший шурился на ветру, смаргивал слёзы, но взгляда не отводил.

Сокол неловко переступал, ждал напуска. В хвостовых перьях звякали бубенцы.

– Желал я, чтя заповедь царскую, тебя праведному вернуть, да людское зло помешало. Ответь, в довольстве ли весёлом у меня гостевал? Знал ли выбережку, знал ли холю и волю?

– Кхеек, – хрипло ответил сокол. – Кхеек, кхеек...

– Кивнул, батюшка, – встрепенулся младший.

Охотники переглядывались, творили священные знаки.

– Кивнул, да не на то, – недовольно буркнул первак. – Изволишь ли дале вопрошать, батюшка?

Птица подпрыгивала, кричала. Просила укрытия либо полёта.

Гволкхмэй Кайден медленно произнёс:

– Сокол мой красный да ясный, нажился ли, говорю, на белом свете сполна?

– Кивнул! – подтвердил теперь уже меньшедомок.

– Кивнул, – шмыгнул носом пригильной.

– Кивнул, – эхом отозвались сокольники.

Боярин медленно наклонил голову. Вот теперь всё было решено.

– Лети же, царский ловец, – проговорил он, как прежде, размеренно. – Лети на руку доброму царю Аодху. Поведай сгинувшему государю о непреклонной верности нашей. Как я ему служил, так, милостью святого Огня, мои дети молодому Эрелису служить станут...

Опытным движением сорвал с птичьей головы клобучок. И огромным размахом, каким-то неистовым, бешеным против обычного, устремил сокола в небеса.

Во всю ширь пахнули могучие кречетиные крылья, плеснули выпущенные опутенки. Птица пошла вверх отвесно, прямо дерясь в высоту, не кружа, как иные. Сокольничие тихо молились. Боярин Гволкхмэй бросил в снег бархатную рукавицу. Не спеша достал из налучи лук. Тщательно устроил на тетиве стрелу, вынутую из колчана. Не охотничью томарку, какой бьют пернатую дичь, – почётную боевую. С красным оперением, с гранёным железком, способным раздвинуть звенья кольчуги, найти щёлочку в дошатай броне.

Ушко стрелы мерцало, как живой уголёк, наконечник был вызолочен.

Старший боярич вскинул пятерню, снова прекратив все голоса.

Хозяин крепости, запрокинув голову, смотрел вверх. Ветер сдувал слёзы с тусклых глаз, низал бисером на седых волосах.

Звон бубенчика всё слабей доносился сверху, но слух Гволкхмэя Кайдена был отточен годами лазоревой слепоты. Левая рука неспешно воздела лук. Правая в двупалой перчатке натянула тетиву... и спустила её, как только кречет, ища добычи, ненадолго замер под облаками.

Тетива прогудела погребальной струной. Все глаза метнулись за красными перьями, но куда! Лук боярина обладал недюжинной мощностью. Стрела ушла и пропала, как вовсе не бывало её.

На громадном бедовнике стало тихо и бесприютно. Лишь текли, шуршали, чуть слышно беседовали нескончаемые белые струи.

Потом вверху явилась тёмная точка.

Она близилась, росла, кувыркалась, ветер перебирал обмякшие крылья, силился опустить наземь бережно, воздать последнюю почесть. Не получилось. Гулкий удар отдался по крепкому насту. Старейший из сокольников дрогнул, прикрыл глаза рукавицей. Мрачно заревел оботур.

Боярин никогда не промахивался.

Сыновья нога в ногу рванулись к павшему кречету. Закутали птицу в богато расшитое полотенце. На белой груди почти не было крови. Гволкхмэй Кайдена молча принял свёрток, покинутый биением жизни. Спрятал под плащом, придерживая рукой.

Меньшедомок извлёк плоскую сулею, наполнил серебряную чару. Подал отцу. Боярин омочил палец, стряхнул первую каплю вверх, вторую на снег, третью через плечо. Сделал щедрый глоток. Вернул чарку сыну. Тот испил, передал брату...

Охота надевала шапки, оттирала носы и уши, заворачивала домой. Старший с младшим вновь повели оботура.

Боевая стрела, окончившая соколиный лёт, была драгоценной старой работы. Отроки погода искали её, не нашли и не удивились тому. Должно быть, она так и мчалась сквозь тучи, ведя гордую кречатью душу на ту сторону неба.



## Доля первая

### Студный день

Под толстым серым куполом шегардайского зеленца утро с вечером не всегда различимы. Поди разбери, откуда сочится чуть розовеющий свет. С Воркуна восстаёт? Клонится к Последним воротам?..

Верешко, зевая, привычно затворил калитку, свернул за угол... Тут же пришлось плотней стягивать у горла ворот заплатника. По улице Третьих Кнутов всегда несло стылым ветром, но сегодня холод не просто лез под одежду – пронизывал ледяными ножами. Верешко даже застонал про себя. Вот на что было подряжаться ночевщиком именно в «Барана», когда три из четырёх городских кружал находились куда ближе к дому? «Пыж» – примерно на полдороге. «Ружа» – всего-то Лобок-остров перебежать...

Сейчас уже отдыхал бы в тепле, под журчание пустых разговоров черёдниц. Не бежал бы в рань-перерань безлюдными стогнами, оскальзываясь на заледелых торцах.

Ох! Даже Малюта, нерадивый отец Верешка, вечерами напивался не у себя в куту, а на другом конце города, в «Зелёном пыже».

Дыхание рвалось густым паром.

Срезая путь, у Кошачьего моста Верешко свернул на тропинку, спускавшуюся к самой воде. По венцу берега часто выпадал иней, но внизу, где дышала вода, под ногами всегда хлюпало... сегодня жухлые стебельки щетинились белым, поршеньки оставляли чёрные следы.

Кошачий мост едва не прозвали Злым. За то, что упрямо проседал при постройке. Наконец строители якобы принесли в жертву кошку, драгоценную в городе, одержимом крысами и мышами... и тогда под первыми гружёными телегами ряжи лишь скрипнули. Знатоки шегардаиских старин дорожили этой басней, но Верешку была по сердцу другая. О молодом мостнике, что нырнул за котёнком, барахтавшимся в холодной воде.

С берега, поросшего чахлым кустарником, был хорошо виден испод моста. Там вечно устраивали ночлег городские непутки, и что за кошачьи драки приходилось раскидывать страже!.. Сейчас у береговых устоев было тихо и пусто. Ни дрянных кушей, ни вяло бранящихся, по-утреннему неприбранных женщин. Черёдники строгости набрались? Радибор в съезжую приплатил, чтоб согнали шумных жиличек?

Всего один рогожный полог перекрывал жилую пещерку. Вот внутри завозились, показалась рука...

Справа, где берег венчал добротный купеческий тын, слышался глухой рык. Верешко вскинул голову. Дворовый кобель, знавший его шаги, давно уже не гневался на раннего пешехода, так с чего бы?..

У забора стояла незнакомая уличная сука. Вздрыбленная серая грива, взгляд лютый: не подходи!

Во дворе шаркнули тупые когти, звякнула по камням цепь. Кобель что-то пробурчал, но не грозно – умильно. Сука фыркнула, облизулась, отвела взгляд. Верешко всё же не посмел её миновать. Осторожно попятился, взбежал на мост, пустился длинной дорогой.

...Ночью блудящую женщину посетил знакомый горько-сладостный сон. Она сидела у тёплого печного бока, держала на коленях сыночка. Рядом вершилась тихая домашняя жизнь, появлялись родители, дочь, слуги... Она смотрела на круглое личико в пеленах, не могла насмотреться. Она не помнила родов, память зияла дырой, но какое это имело значение? Всё было так хорошо...

Печной бок вдруг перестал греть, осыпался сырым каменным крошевом. Женщина вздрогнула, проснулась.

– Мама, не спи, – теребила дочь. – Уже Верешко пробежал, сейчас черёдники пойдут, гнать станут... Вставай, нынче день добрый...

Сон разлетелся дымными ключьями. Не соберутся, не овеют зыбким теплом. Руки у доченьки были совсем детские, прозрачные, в цыпках. Зато растрепавшаяся коса – густая, длинная, залог будущей красоты...

...Краса, горе девичье! Непутка вскинулась, обняла девочку с таким яростным отчаянием, словно ту отнимали прямо сейчас.

Вчера ей предложили продать дочь.

«Я бы подучил обхождению, а там и дом хороший найдётся. – Хобот вытер руки о кружальный столешник. – Я таких, как твоя, уже немало пристроил. Раньше бабы к Опалёных бежали, теперь все деток хотят. Заплачу щедро, не пожалеешь...»

«Ты о чём?» – похолодела непутка.

«О том, дура, что красе девьей холя нужна. Спасибо лучше скажи. Заберу с хлеба долой, хлеб тебе, знаю, трудом нелёгким даётся...»

Кружало содрогнулось от хохота. Все знали, каков был тот труд, чего ради она прихорашивалась в сеньях, наталкивала тряпье под рубаху на груди и на бёдрах.

«Да ты...»

«Сам видел: молодой Радиборович вслед облизывался. Не углядишь, сжуёт да и выплюнет, поди правду сыщи...»

Женщина не помнила, как выскочила из «Ружи», потом вешала рогожку под Кошачьим мостом. В ушах гудели пьяные голоса:

«Нешто ждёт, что зассыха её в боярыни выйдет?»

«От доброго кореня, ха-ха, добрая отрасль!»

«Куда мать, туда и дитя...»

...Непутка посидела немного, потом медленно поднялась. Старая, разбитая в неполные тридцать. Спустилась к берегу. Расширив подол, исправила утреннюю нужду.

Прищурилась, заметила на ерике прозрачный ледок.

Нутро отзывалось глухой болью, мир был чёрным и серым. Даст ли новый день еду и тепло?

За добро, явленное без меры, следует неустанно благодарить. А то приноровишься к дармовому благу, вступишься числить его каждодневным и вечным – тут же лишишься всего.

Чуть не всякий торговый день с Привоз-острова долетал шепоток, расползался сизым угаром, вещая о страшном. О том, что в дикоземьях Левобережья погасла ещё одна искорка. Уступил, сдался стуже очередной зеленец.

– Слышь, желанный, а люди? Люди-то?

И камень падал с души, когда в ответ слышалось:

– А что им? К соседям перебежали, захребетниками живут. Своим кипунам ленились молитвами порадеть, чужие хвалят теперь!

Порой добавлялись известия о стариках, отказавшихся обременять молодых:

– Благословили детей уводить. С тем остались...

Тут задумаешься, не купить ли тележку. Чтоб в случае чего и отца свезла, и что-нибудь из домашнего скарба.

«Какую тележку! – обрывал себя Верешко, редко выходивший за стену. – Готовить, так саночки...»

...Только не выручат саночки. Вот как всё будет:

– А нашли их, желанные, на полдороге. Мужья жён обнявши, дети малые к подолам при-  
ткнувшись...

Улица Третьих Кнутов скоро вывела Верешка на изволок. Отсюда уже был виден Торж-  
ный остров в опрокинутом венце туманных столпов.

Стоило бросить взгляд, и сделалось холодней прежнего.

Слишком густой пар от дыхания Верешку не привиделся.

И забереги на протоке не показались.

Там, где срединный и самый мощный городской зеленец граничил с соседними, слабело  
тепло, и вниз ручьями протекал холод. Обычно он рассеивался, не достигая земли. Курился  
обтрёпанными рукавами. Моросил дождиком. Уличные певцы называли эти хоботы обломан-  
ными зубами мороза. Тщатся, мол, прокусить, ан не могут!..

...Ох, сглазили песнотворцы! Сегодня осадные башни зимы упирались в твердь плотно  
и основательно. Домов не видно было во мгле, по улицам расплзались белые клубы.

Клыки зимы, всегда грозившие городу, достигли и впились. Сжимались, поигрывая...

В прошлую зиму такое видели всего один раз. В эту, получается, уже четвёртый.

Один из белых клыков накрыл кончанскую вечевую площадь прямо на пути Верешка.  
Сын валяльщика стал озираться, прикидывая обход. Потом заметил людей, которых не напугал  
холод.

Жрецы вынесли из храмов знамёна, хранимые для праздничных шествий, и совершали  
молитвенный ход. Заклинали стужу Высшими Именами. Не позволяли наводнить улицы,  
захватить город.

Бились там, где бессильно никли мечи и стрелы мирян.

Верешко даже приостановился. С изволока было далеко видно и слышно. Из храма Огня  
несли светочи, и не подлежало сомнению, что первым шагал Твердила, старейшина кузнецов.  
В молельне Морского Хозяина гудели ревуны; храм стоял на сваях, гул шёл словно со дна. Из  
обители Внуков Неба долетало пение земляных дудок, звавших на помощь тёплые ветры.

А на вечевой площади Лобка заслоном встали мораничи. Шествие возглавлял молодень-  
кий посвящённый, совсем недавно подававший облачения старшим жрецам. В своей мирской  
семье он был вторым сыном, отчего, сложив прежнее рекло, до сих пор звался Другоней.

*В час боренья, когда безнадёжны труды  
И враждебная сила нам застит пути,  
Материнским платком огради от беды,  
Правосудная, чада свои защити...*

Голосок у юнца был сиплый и слабый, вчерашний служка то и дело останавливался про-  
кашляться, перевести дух, но глаза поверх тканой повязки светились счастьем служения. Люди  
за ним шли бодро и радостно: накажи многогрешных, Мать... но не оставь! Да сбудется по  
воле твоей, по вечному завету между Матерью и детьми!

Жители Лобка покидали дворы, тянулись за благословением. Верешко тоже побежал  
навстречу молящимся. Вот сейчас богоречивый заглянет ему в глаза, возьмёт руку в ладони...  
скажет несколько слов... самых истинных и спасительных...

Может, удастся сберечь благодать, отца наделить?..

Не успел. Из переулка на Третьи Кнуты шагнул Люторад.

Под его взглядом Другоня осёкся. Умолк... вовсе остановился. Верные, тянувшиеся за  
юным жрецом, неволей скучились кругом обоих.

– Тебе кто дозволил? – сквозь зубы, с грозным нажимом прошипел Люторад.

– Богозарный брат... – только и выдавил Другоня, часто моргая. Сразу стало заметно, какой он на самом деле молоденький. Немошный телом. Незрелый в служении. Оба опоясанные жрецы, но какое может быть равенство между вчерашним служкой и сыном святого?

– А что, Божьему человеку за дозволением бегать, прежде чем с людьми Матушке пора-деть?

Говорил санник Вязила. Он всегда был важен и горд, а ныне особенно. В его ремесленных вершился спорый труд, полный страха и радости: лучшие делатели источили сани, чтобы царевичу Эрелису ехать на них в отеческий город. Такими, как Вязила, держатся храмовые общины, его на жертвенный пир поди не пусти.

Уличане зароптали, поддерживая Вязилу. Людям не нравится, когда песенный лад рушат за то, что головщик нелюбим.

Люторада, чуть заметно скрививший губы от наглого «брат», не пал до пререканий с мирянами.

– Лучше подумай, как правиться будешь, ночь по улицам бегавши, честной люд соблазнявши...

Другоня вдруг обрёл почву под ногами:

– Ты же и послал, богозарный.

– Я?

– Так в съезжую. Там, в блошнице...

Верешко наострил уши, одержимый дурным любопытством, замешенным на страхе и отвращении. В каморах расправы гостевали захожники и горожане, грешные городской Правде. В торговые дни над площадью исправно посвистывал кнут. Ждали поимки злодея, годного для торжественной казни, но пока достойных не попадалось. Это многих тревожило. Приезд царевича ощутимо близился... а чем встречать?

«Неужели?.. Кого, за что?..»

Увы, блошница и нынче пополнилась лишь буйными мочемордами. Таких казнить – курам на смех! Отрезвить в холодке да вытолкать взашей...

– Это их ты всю ночь на правый путь наставлял?

С каждым осуждающим словом Другоня как будто становился всё меньше.

– Нет, богозарный. Уличное дитя...

– Какое ещё уличное дитя?

– ...Поцелуя Владычицы сподоблялось... Прошу, святой брат, возглавь радение верных...

И юнец склонился – низко, повинно, смиренно. Наконец-то додумался передать честь тому, кто достойней.

Люторада повернулся – только ризы плеснули шитым подолом. Люди потянулись вслед, кто ворча, кто обрадованно.

*Каждое сердце пусть верой озарится,  
Путь обретая сквозь гиблые снега!  
Страха не знают повинные Царице,  
В прах повергают жестокого врага...*

Голос у Люторада был выученный, но выученный хорошо – сильный, победный. Верешко последовал бы за ним, но... молиться молись, а дела держись. Промедлишь – тележку со снелым для водоносов покатыт кто-то другой. Сын валяльщика отступил, пропуская шествие. Злое, непрощаемое дело – дорогу перебивать!

В охвостье молитвенной рати плелась всякая рвань, мизинный народишко. Кто в надежде на дармовую кормёжку, кто кошелёк срезать.

Трусой пробежала тётка Комыниха с надолбой-дочкой: может, святое дело у той хоть каплю разума пробудит?.. Девка безмозгло озиралась, пускала слюни, размахивала толстыми руками.

Промелькнул вор Карман, люди сторонились его, придерживали на поясах кошель. Разживётся ли ныне чем-нибудь – поди знай, а вот на кобыле в торговый день точно поедит...

Другоню, стоявшего у забора, обступили кувyki. Горбун Бугорок, хромоy Клыпа, слепой великан Некша с коротышкой-поводырём.

– Напоёшь, святой жрец, ещё раз голосницу пригожую?..

Забор скрипнул калиткой. Сопровождаемый полудюжиной ратников домашнего войска, явил себя купец Радибор. Заметив кувyk с их вагудами, нахмурился. Ещё чуть, и велел бы в толчки гнать бродячих гудил, но заметил жреца, отвернулся.

На глаза попал Верешко. Радибор тотчас устави́л палец, словно это он был виной стуже:

– Охти, безлепие наше... Сын жилы рвёт, отец по кружалам. Эй, паренёк! Не надумал Малюта дом заложить?

Хоть с разбегу да в Воркун головой.

А Радибор ещё добил:

– Не журишь, Верешко. По заулкам тоже люди живут, не только по улицам.

Верешко хорошо знал те заулки. Соблазнится Малюта – и будет их вечерами ждать развалюха в топком конце Лапотной либо Ржавой. Один раз удай, и не остановишь. Дом сменится углом или собачником где-нибудь в людях. А там вовсе Дикий Кут... с дикими камышничками вповалку...

А в нынешнем доме, помнящем маму, Радибор новую лавку откроет.

Малюту в толчки погонит, когда тот пьяный по былой памяти завернёт...

Верешко шмыгнул мимо кувyk, безо всякой гордости припустился бегом.

«Кыште, отрыште, мысли истошные!»

В «Баране и бочке», где властвовала добрая Озарка, наплывали снeдные запахи, кружило голову благословенное сухое тепло. Не чета греву от железного жбана, доставленного водоносами. Во дворе, как всегда, вертелись уличные мальчишки. Озарка подзывала то одного, то другого, вручала корзинки:

– Это грамотнику Вараксе. Это – Пёсьему Деду. Это – ворожее, что в конце Малой живёт!

Дерево в Шегардае было привозное, стоило недёшево. Каждодневный дым из трубы считался знаком достатка. Простолюдье несло горшки в Озаркину печь, уси́льно доплачивая за дрова. Сколько мог судить Верешко, с этой платы Озарка подкармливала бродяжек, разносивших приспешное. И не только.

Внизу длинного стола, на скамье, ютилась бледная женщина. На голове простой на́мёт, из-под на́мёта – две реденькие косы, знак распутства. Рядом – дочка-отроковица. Девочка бережно хлебала из дымящейся миски, тщетно просила:

– Мама, отведай...

Дверь в поварню стояла настежь распахнутая. Слышались речи баб-кутянок, дорвавшихся до Озаркиных хлопотов.

– Во дела чудовые! Блудящих в доброе место пускают! – подвязывая запонец, возмущалась одна. – Завтра хлеб позволят месить! Ушам не верю, Озарушка!

Верешко различил голос знатой сплетницы, баламутившей по всему Шегардаю. Даже вспомнил прозвище: Ягарма. Стало страшно. «Сын в людях, а отик...» Бойся не ножа, бойся языка!

– Я сама думала две косы наружу плести, – спокойно отвечала Озарка. – Доброта людская спасла. И сестрицу не прогоню. А кому не любо – вон Бог, вон порог.

В поварне примолкли, занялись делом. Верешко оглядел кружало. В темноватом уголке сидел ранний гость. Он занял лучшую лавку, но, по запаху, пробавлялся смиренно: ел плотвейную щербу. Верешко присмотрелся. Чистый столешник, вышитый наскатёрник... В печном тепле тулился Коверька, посовестный человек. Радибор таких звал просто ворами, гневался: «В расправу пойду, черёдников натравлю! Кнута на них нет!»

Коверька хлебал щербу неспешно, скромно, опрятно. Поглядывал на входную дверь. Там устроилась пришлая баба, молодая, в заметной тягости, изнурённая непосильной дорогой. Возле ног большой короб, за коробом на полу играет тихий мальчоночка... Пришлая пила горячее, ёрзала, держала руку на чреве.

– Да я ж, Озарушка, разве что говорю? – лебезила перед хозяйкой Ягарма. – Истинная правда твоя, им, бедным сестрицам, и голову приклонить негде, и от обид защитника нету...

Помощь с готовкой для мирских трудников радовала Богов, смотревших на Шегардай, а земная власть облегчала подать, взимаемую на прокорм водоносам. Оттого уличанские бабы охотно пособляли в кружале и, боясь изгнания, придерживали дурной нрав.

– Просевень в кладовке возьми, – ровным голосом велела Озарка. – Опара взошла уже, пора тесто месить.

Ягарма поспешила в кладовку. Верешко опоздал скрыться с глаз, но сплетница его не заметила. Снаружи раздавались шаги. Уж не подружка ли Вяжихвостка идёт, жгучие новости за щеками несёт?

Шаги оказались мужскими. На пороге явил себя незнакомый гость, задержавшийся с торгового дня. Справно одетый, сосредоточенный, шёл словно по рукам бить о мешке золота, только рукавицу дома забыл. Поклонился божнице. Увидел Коверьку, чуть замер, вздохнул, решился, подсел.

Озарка вышла к ним, отряхивая с ладоней муку. По мнению Верешка, красивее не родятся: добрая, полнотелая, с ямочками-умилками, легко рождавшимися на щеках.

– Вели, статёнушка, всё нести, чем богата, – потребовал гость.

Коверька смущённо развёл руками, вроде бы отвергая неумеренную щедрость, но промолчал. Купец недовольно скосился на Верешка, на непутку, на дётницу у двери... Гнать бы всех вон, да из кружала не выставишь. Око на око беседовать ступай под дружеский кров... в глухой переулочек...

– Студный день выдался, – начал он осторожно.

– Студный, – равнодушно отозвался Коверька.

– Люди бают, ты муж опытный, в людских делах сведущий...

– Может, и бают.

Купец собрался с духом:

– Совета бы мне, человеке посовестный. Вдруг подскажешь чего.

Принесли угощение: горячую кашу, зелень, жареные пирожки. Гость сам почти не ел, всё пододвигал блюда Коверьке. Тот отказывался, наконец щипнул по кусочку:

– Мне ли брюхо тешить, когда у иных оно к спине липнет... Отдай бедным, добрый Жало, я и порадуюсь. Что у тебя, гость богатый, за беда приключилась?

Прибежала, отдуваясь, баба Вяжихвостка, подружка Ягармы. Влезла в застиранный запонец и с ходу принялась тараторить:

– А ворожея-то впрямь знающая оказалась!

– Да ну! Шептала, поди? Книжки тайные раскрывала?

– Поверишь ли, желанная! Выспросила, что он, блудень, любит, чего боится...

– А потом?

– А потом говорит: веди к себе, бабонька, сама в глаза бесстыжие посмотрю!

Верешко заметил, как насторожила уши непутка. Инно чуть ожила, подалась вперёд.

– И не убоялась?! Нравен, на руку скор...



– Скор-то скор... вошла, он бух на колени, словечка даже не вякнул!

– А она?

– А она хватить его за руку и страшным голосом молвит: взгневил ты, пустая людина, Матьер нашу безгневную, Правосудную! Вот тебе тяжкое слово из уст её справедливых! Узри то слово над головой у себя, как тучу, громом разящую! Отныне заповедно тебе свою жёнку бить, к чужим с подарочками ходить! Ослушаешься – тут-то гром и падёт! Да не на тебя, порожний мешок, – на твоего сына! По святой воле Матери бесчаден состаришься...

– Охти, жутко-то! И что случилось?

Верешко, старательно пропускавший чужую беседу мимо ушей, вдруг пристально вслушался.

– А то, что вот уже месяц с ловли домой голубем быстрокрылым летит! Ни по девкам непотребным, ни по гостям! Жёнку нарядами приодел, сыночка с рук не спускает! Сам будто выдохнул что дурное, а уж баба цветёт...

Каждое слово падало золотой капелькой. «Ну скажи, всезнающая Вяжихвостка, дорого ли чудесная ворожея просит за ворожбу? Вдруг да хватит медных чешуек в свёрточке, запятанном под гнилой половицей?..»

...И преобразится Малюта. Отрезвеет, вспомнит себя. Расчешет бороду, поведёт сына за шерстью, за красками... на невольничий торг – помощника покупать...

– Слыхали, желанные? «Пыжа» грозятся снести. Сказывают, видать его, язвищу, из новых теремов, с чистых гульбищ, в окошечки зоркие. Гоже ли будет нашей Ольбице непотребством глазоньки осквернять?

...А сохранилось ли у отика в душе хоть что вправду святое? Как сын для рыба-лова-гулёны? Такое, что невозможно сменять на кружку горького пойла?.. Что ему Верешко, если мамини прикрасы все пропил...

– И вот дал он мне, Радибор, кремнёвое купецкое слово, – долетала от печи жалоба торгового гостя. – Мол, выручи, не забуду! Всё как есть в Шегардае верну, да с надбавкою за добро!

– А ты?

– А и выручил, и бирку резать не стал... как же нам, купцам, без верного слова? Не усомнился... а постучал к нему намедни... ты кто таков? что за речи срамные? эй, там, спускай кобеля! А пёс у него на цепи... ещё тех кровей, с Пропадихи... тебе ли не знать!

– Мне? – лукаво удивился Коверька. – Откуда бы?

Гость шутку не принял, махнул рукой с усталым отчаянием:

– И что мне теперь? Старцам вашим челом бить? Знаю я, как своих с чужими рассуживают, если слово против слова упёрлось... Только шепнули мне: если по закону никак, ступай к тем, кто... по совести. Твоего слова жду, батюшка, на тебя надёю храню.

– Нет совершенства в законах, но ими Андархайна стоит, – сощурился хитрый Коверька. – Ты, добрый гость, не на Правду ли восстать меня подбиваешь?

Заезжень хотел гневно отречься, не успел. Возле двери ахнула, простонала непраздная. Верешко оглянулся... С подола на берестяные лапотки, на мытый пол проворно текло.

Пока он пытался смекнуть, к чему бы такое, непутка подоспела на помощь:

– Да ты, милая, разрешиться надумала! Родня есть у тебя?

– Нету, – низким голосом пропела брюхатая.

Коверька сразу выбежал из-за стола, обхватил тяжёлое тело, клонящееся со скамьи:

– Озарушка! Куда вести?

Не там же ей, в самом деле, рожать, где люди едят.

Хозяйка обернулась, крикнула в дом:

– Темрюй! Темрююшка!

Где-то внутри покоев отозвалась дверь, прошелестели шаги. Верешко знал, конечно, отчего в «Баране и бочке» напрочь оставили подрезать кошельки... всё равно оробел. Где

закон, там суд, где суд, там палач... Во храме Владычицы злых казнителей времён Хадуговых кар писали явно с Темрюя. Громадного росту, с серебряным отблеском в непроглядной бороде и кудрях... с такими ручищами – диво дивное, как иные злодеи, угодив в эти ручищи, бывало, тужились запираться.

Озарка бросилась навстречу:

– Темрююшка, пособи...

Он сделал два быстрых шага... и над беспомощной роженицей оказался нос к носу с Коверькой. Вор и палач глянули друг другу в глаза, безмолвно кивнули. Темрюй легко подхватил на руки женщину, понёс из общей комнаты вон. Коверька принял мальчоночку, взял короб, пошёл следом. На ходу велел подвернувшейся чернавке:

– Зови тётку Грибаниху!

Девочка пискнула и умчалась. Бабу Грибаниху, зелейницу, лекарку, все в городе знали. Сын валяльщика топтался и тосковал, не зная, куда себя деть.

...Двор стоял ровно там, куда так боялся угодить Верешко: у края Дикого Кута, в мокром конце Малой улицы, одной из шести сущих в городе. И был точно таким, каким являлся Верешку в самых страшных мечтах. Покосившийся, полустгнившийся забор, тронь – развалится, на дрова ломать и то срам. Каменный домишко за забором кренился одним боком во взбухшую топь. Не разваливался лишь потому, что клали его в хорошую пору, с любовью, на добрую славу, на крепкую жизнь.

Теперь купить подобное жильё в гордом некогда Шегардае могли даже пришлые. Даже баба с дочками из какого-то Нетребкина острожка.

Был поздний вечер, когда порядочным людям след дома сидеть, а не по улицам шляться. Со двора тянуло дровяным дымом. От этого горсть медяков, завязанная в платочек, казалась ещё ничтожнее. Непутка перевела дух, крепче стиснула руку дочери, взялась за кольцо-колотушку.

Осклизлые доски отозвались глухо и слабо. Услышат ли за толстыми дверьми, за войлочными коврами?.. И что тогда, в прореху забора по-воровски проникать?..

На удивление, калитка тотчас открылась. Непутка подспудно ждала чванливого стража, но увидела девуку. Да какую! Красавицу о вороной косище, о тугом завитке в углу чистого лба. Сама жизнь! Щёки в нежном румянце, губы – маков цвет, а глаза!..

И бесстрашная, Боги благие, в пятнадцать отроческих годков!

Непутка стояла перед ней серая, блёклая.

– На все четыре ветра тебе, хорошавочка...

– И тебе, любезная гостыюшка, – прозвенело в ответ. – Полежай в дом, только окажи милость, изволь чуток обождать. К матушке нашей другая за советом пришла.

В передней комнате сидели с прялками ещё три красавицы, три умницы. При виде поздней гостьи вскочили, захлопотали, метнули чистый полавочник на лавку возле печи. Удатные люди по ворожеям не ходят, лишь бесталанные. А несчастный и у печки зубами ещё долго стучит. Девочка липла к матери, пряталась, большими глазами рассматривала нарядных, уверенных рукодельниц. С такими дочками у матери халупа – дворец, стол – престол... со скатертью-самобранкой...

Гостям тут же поднесли мису горячей рыбной юшки, вкусных сухариков. Непутка даже не притронулась к ложке.

– Мама, отведай...

Та едва разомкнула серые губы:

– Сыта я... щедростью Озаркиной... ты ешь себе.

В глазах девочки встали слёзы. Озарка вправду их не обидела, только мама и там осталась глуха к потчеванью. Хотя у самой лицо делалось всё прозрачней.

– Мама...

Наверху стукнула дверь горницы, слышались голоса:

– Всё постигла? Затеешь с мужем играть...

– Как есть помню, матушка, не забуду...

Говорили будто две сверстницы, только одна твёрдая, сведущая, вторая обнадёженная, напуганная, смущённая.

Быстрый топоток по ступеням – и через переднюю пробежала просительница. Выскочила поспешно, отворачиваясь, пряча рдеющее лицо краем длинной фаты... Девочка всё равно узнала Догаду, молодуху кузнеца Кийца. Ягарма с Вяжихвосткой судачили про неё: никак-де не забрюхатеет. А всё оттого, что Догадина мать, вдова Опалёниха, много лет баб от бремени избавляла, тем и жила.

Кудряшка проводила Догаду. Ещё одна дочь поднялась в горницу, вернулась, поклонилась непутке:

– Поди, желанная, матушка ждёт.

В чертоге ворожеи ясно и ровно горели шегардайские свечи – жирные вяленые рыбёшки с продетыми фитильками. Ведунья ещё созерцала что-то в мирах, недоступных смертному взгляду. Дым тонкой куделью тёк к её пальцам, ворожея сучила и пряла, то ли распутывая, то ли увязывая судьбу юной кузнечихи... Наконец вернулась к земному. Увидела непутку с отроковицей, замерших у порога:

– Дело пытаешь али просто так заглянула?

Непутка ударила большим поклоном, дёрнула за руку дочь.

– На четыре ветра тебе, государыня богознающая добродеея...

– И тебе поздорову, ласковая сестрица, – прозвучало в ответ. – Честно ли внизу мои доченьки приняли? Если неучтивы были, уж я им, бестолковым!

– Такие дочки всякой матери слава, – глухо отозвалась непутка. – Дай тебе Правосудная добрых сынов богоданных... внуков во множестве...

– Благодарствую на добром слове, сестра. Что ж, садись да рассказывай, какую невзгоду мне на порог принесла.

Непутка, дрожа, опустилась на простую скамеечку, всю вылощенную людскими портами. Знать, горестям у народишка не было переводу. Девочка жадно рассматривала ворожею. Ждала цветных камешков в чаше, шёлкового платка на глазах, как у пророчиц с Гадалкина носа... ошиблась. Женщина, сидевшая в святом углу, больше напоминала неутомимую лыжницу из дикоземья, захавшую продать копчёных гусей. Стать сухая, возраста по лицу не поймёшь, взгляд светлым-светел – из самострела всадит, не прометнётся. Только волосы, расчёсанные по плечам, прихватила белая паутина.

– Я... родом нездешняя... – начала было непутка.

Ворожея нетерпеливо повела бровью:

– Это знаю. С родителями от Беды убегала, в дороге осиротела. Радибору служила, а выставил, в людях помыкалась, к ласковым девушкам подалась... В чём, спрашиваю, горе твоё? Что избыть хочешь?

Непутка произнесла очень тихо, но в голосе скрипело лезо, тянущееся из ножен:

– В том и горе моё горькое, что он, Радибор, воздухом дышит, воду пьёт, землю топчет безвинную.

...Дрогнули свечи. Рыбьи зубастые пасти подавились коптящими фитильками. Ворожея наклонилась вперёд, глаза блеснули, словно у кошки, вышедшей к свету:

– Такого, безумница, у Богов не проси, в мыслях мыслить не смей! Сила нам какая ни есть даётся лишь на добро, потому что зла и без нас в достатке творится!

Непутка опустила на стол глухо звякнувший свёрток. И продолжила мёртвым шёпотом, глядя прямо в светящиеся зрачки:

– Хранила я серьги прабабкины. Ни на снедный кус, ни на тёплый ночлег сменять не польстилась... Узрела их Радиборова жёнка. Затряслась аж: продай!.. а как я дочкино наследство продам? Назавтра меня в толчки за ворота... узелок мой вслед кинули, а серёг в нём и нету...

Ворожея молчала, слушала пристально. Глаза просительницы ненадолго блеснули давно утраченной синевой.

– А после на праздник Обретения Посоха она, Радибориха, в моих серьгах вышла! И где правду искать? Злодей мой в городе могуч, а я кто?.. Ни уличан, ни родни!

– Сестрица... – вдруг тихо, жалеючи произнесла добродей. – Владычица уже склоняется над тобой... Есть ли кому дитя вверить, поцелуй её принимая?

Девочка моргала, цеплялась за мать, смотрела то на неё, то на ворожею. Каждое слово в отдельности она понимала. На всё вместе разумения не было. Только съеденная ушица оборачивалась в животе камнем.

Хозяйка продолжала:

– Хочешь, пригрею? Станет моей негущкой, певчей пичужкой. Тебе памятью, мне радостью, в миру славой, как старшенькие когда-то...

Ну нет! Чтобы последнее своё сокровище – да в чужие загребушие руки?.. Хобот посягал, и эта туда же?.. Непутка вскочила. Мгновенным движением сгребла со стола свёрток. Схватила за руку дочь, молча бросилась в дверь, лишь на пороге сипло бросила в темноту:

– Да чтоб тебе по пичужкам своим душой изболеться, как мне по моей!..

За день стужа ушла, побеждённая совокупным молением горожан. На ериках растаял ледок. Белые клыки, одевшие инеем немало домов, вновь обратились зыбкими хвостами тумана. В храме Морского Хозяина по-прежнему гудели паровые ревуны, но не тревожно, как утром, а благодарственно. Верешко неуклонно верил Владычице, чьё ухо склонялось лишь к пению людских голосов, ему надлежало с презрением отворачиваться от несовершенных погудок иных поклонений... Зыки труб всё равно вселяли уверенность, что Шегардай не сдастся морозу, будет стоять и завтра, и послезавтра, и через год.

Ревуны появились в храме недавно, однако горожанам пришлось по нраву.

– Ишь, согласно гудут, – вслух порадовался поздний прохожий. – Верно, парень?.. – И сощурился. – Ты, что ли, Малютич?

Верешко неволей остановился:

– Вечера доброго, дяденька Гирия.

– Не открылось ли, что за кудесник лепоту изобрёл?

– Разное гадают, дяденька, а наверняка никто не узнал.

– За отиком поспешаешь? Помогатый не надобен?

– Благодарствую, дяденька. Отик меру знает, сам домой идёт, я так, присматриваю...

– Ишь гордый. Ну, зови, если что.

Верешко поблагодарил, побежал дальше, прикрывая колпачком горящие уши. Вот они, шабры. Чуть беда – примчатся на помощь. Как тот раз, когда Верешка взяли опознавать кровавый суконник. За такими не пропадёшь... но и чирья от тычущих перстов не укроешь.

Дорога была скорбно-привычная – в «Зелёный пыж». Если повезёт, Малюта станет ругаться, тяжёлой рукой отвесит сыну затрещину... но всё же и вправду приковывает домой своими ногами. Если не повезёт... Сколько раз Верешку доводилось, надсаживая хребет, под хохот пьянчуг утаскивать отца на себе. Вести бесчувственного заулками, тропками, чтоб не видели уличане.

Самый короткий путь до «Пыжа» был Диким Кутом, но туда, в дебри, днём-то дурных не было соваться. Прежде там был хлопотливый птичий мирок, оставленный праведными для услаждения глаз, для соколиной красносмотрительной травли. Ныне в плавнях, ставших почти

непролазными, ютились камышнички. Эти, пожалуй, убить не убьют – всё же напрямую через кровь в Шегардае редко переступали, – но вот честной хабарик, их с отиком сегодняшний ужин, отнимут наверняка. А то ещё и разденут: не сирота, новый справишь! – а нам не нагими ходить стать...

...Тонкий, горестный плач за углом перво-наперво внушил мысль о ловушке. Сунул воробышек нос, тут весь и пропал! «Кто такое подстроит, сам пусть выручки не дожждётся, а со мной Матерь, право карающая...»

Он сразу узнал женщину, бессильно поникшую под забором. Все шегардайцы друг друга навскидку знают в лицо. И гордых первонаселенников, и вороватую голытьбу, и частых гостей... ну и непуток, как же без них. Эту Верешко с утра видел в «Баране». Озарка хвалила её за помощь, оставляла пожить, звала в хожалки к роженице и дитяти, уже прозванному Подосиновичком... Зачем непокрытые косы вынесла в зады Гнилого берега, под хмурые стены собачников да лабазов? По темноте, по безлюдью? А дочь с собой на что привела?..

Девочка плакала взхлёб, обхватывала дуру-мамку под мышки, силилась приподнять:

– Вставай, мама... вставай...

– Сейчас, дитятко, – трудно дыша, хрипела непутка. – Погоди...

А сама, похоже, глаз открыть как следует не могла.

Верешко отвёл руки девочки, подсунул свои. Были парни сильней Верешка, но и он в четырнадцать годков стоял жилистый, крепкий. Прикосновение к женскому телу обдало почти ужасом. Дешёвые вбони, скверна распутства... Костлявая, в чём душа, увядшая плоть, давно не знавшая мыльни... Трусливая мысль о соседях: а ну как заметят склонившимся над непуткой!.. Верешко, привыкший ворочать громоздкого Малюту, поставил женщину на ноги, не заметив натуги.

– Пойдём, сударыня... куда шла, сведу... – Он не знал, как к ней обращаться, но она не слыхала. Клонила голову, хватала воздух, точно плотвица на берегу. Какое вести, в пору на плечах относить. Делать нечего, он повернулся к девчонке. – В кружало шли? Ночевать?

– Дяденька... – только пискнула она. Наверно, Верешко ей казался уверенным, взрослым. А может, ровесник вроде Хвалька Опалёнича уже мял и тискал её мамку-растрёпу... за чёрствый кус, за кружку мерзкого пива...

Непутка вдруг ожила, рванулась бешеной кошкой:

– Зенки повыцарапаю, задарма лапать! Пусти!..

– Ну тебя! – У Верешка, в мыслях не державшего неволить её, лишь моранская воздержанность убрала с языка тяжкое слово. – На закрошни лезь, говорю! К Озарке снесу!

Он в самом деле готов был подставить женщине спину. Глядишь, вправду справился бы, доволок, настёганный гордостью и обидой... Увы, разум женщины, одержимый предчувствием новых бед, уже не судил здраво. Она вцепилась в его руки, расцарапала:

– Снесёшь? А я тебе, значит, плати? Плати, да? Ты ещё к доченьке лапы бесстыжие протани!

Верешко не смог заслониться. Ногти непутки промахнулись по глазам, зажгли горячие полосы на щеке. Он выпустил женщину, подался прочь. Отцовы затрешины бывали куда тяжелей, но к ним он притерпелся.

– Ну как знаешь, – сказал он сквозь зубы. – Девку хоть пожалей!

Непутка про него успела забыть. Стояла, прислонившись к забору, крепко обнимала плачущую дочку:

– Не отдам... не отдам...

На этом Верешко понял – его дело сторона. Побежал дальше. Щёку жгло и саднило.

В «Зелёном пыже», как обычно, разило несвежей едой, скверным пойлом... и людьми, которым здесь давно было милее, чем дома. Сын валяльщика привычно оглядел залитые брагой столы. Горестно хмурясь, обшарил взглядом пол под столами. Где отец?

– А нету отика твоего, – подал голос Малютин всегдашний застольный товарищ.

– Как – нету?..

– А так, – повернул косматую голову другой мочеморда. Он рассказывал друзьям, как его сживает со свету злая жена; Верешко явился помехой.

– Скороход прибежал, спрашивал, который тут суконщик Малюта...

– Что на углу живёт...

– Его-де купец призывает...

– О продаже рядить.

Верешку на темечко рухнула сосулька в десять пудов. «Радибор! Дом торгует...» Губы еле послушались.

– Какой купец?

Выпивохам стало очень смешно.

– Про то нам не сказывали.

– Важный, вестимо.

– Сядь, малец, хлебни с нами!

Верешко попятился к двери:

– Призвал-то куда?

Это они смогли подсказать, благо речь шла об ином кружале, чистом, богатым, где их не пустили бы на порог:

– В «Ружу» навроде...

– Скороход на тамошнего похож.

Верешко позже не вспомнил, как выскакивал на улицу. Соображать начал, только когда влетел в дозорных черёдников, перебегая Полуденную.

Кутяне, в синих кафтанах, в колпаках с красными околышами, его тотчас узнали. Он тоже каждый день с ними здоровался, но сейчас не знал ни лиц, ни имён.

– Куда мчишь, шабрёнок?

– Гонится кто аль сам угоняешь?

– Отика ищу, – давясь близкими слезами, пролепетал Верешко. – У него хмельного дом отбирают...

– От же ж! – всполошились дюжие парни. – Попустим ли, чтоб горе-злосчастье верх взяло? Чтоб у доброго горожанина, подпоив, деду выманили?

Малюта был умён. Напиваясь, лупил только сына. Драк в кружалах не затевал, срамных песен по улицам не горланил. Черёдники не раз помогали Верешку дотаскивать отца до калитки. А что у него дома творилось, то в доме и оставалось. Сын сора за порог не выносил, а сторонние люди к Малюте заглядывали всё реже.

– Поспешим, братцы!

– В «Руже», сказываешь?

И Верешко помчался вперёд, слыша позади уверенный топот, смаргивая с ресниц горячие капли. Ощущать за собой справедливую мощь города было сладко, но почему-то и горько. Может, потому, что Верешко нутром чуял: они опоздают. Вомчатся через порог... и увидят, как Малюта помавает рукой, отбитой о руку купца: «Владей, Радиборище. Велю сыну скарб вынести – и вселяйся...»

– Не попусти, Матушка! Вложи ума отику... от неворотимого отведи... а меня...

Грешные деяния вспоминались в неожиданном множестве.

Пробежал мимо уличной святыни, прячась под плащиком от дождя, – нет бы хоть крастенько помолиться, медную чешуйку в горшочек с прорезью опустить...



Пренебрёг жреческим ходом, избрав мирские дела...

А хуже всего – третьего дня заслушался на площади скоморохов. Заезжая ватага являла деяния праведных, славил мужество Гайдияра, не давшего сцепиться дружинам. Как хохотал Верешко, когда величавое сменилось задорным – песней о великом и сокровенном копье! Ватажок Шарап утверждал, будто Меч Державы разыскивал сочинителя, дабы наградить за ум и отвагу... А когда строгий Люторад осудил хохочущих позорян, призвал всех верных уйти – Верешко подосадовал, зачем весёлый глум воспрещают...

– ...А мне по грехам моим кару дай... Тебе повинен... надо мной воля твоя...

В «Ружном дворе» были распашные двери. Резные, хвальные, с солнечными ликами на полотнах. Изваянные волосы, бороды и усы красиво струились, превращаясь в лучи огнистого света. Западный лик был старческим, восточный – юным, рассветным.

Верешко схватил разом оба кольца, дёрнул изо всей силы. Заскрипели, упираясь, противовесы, но дюжие черёдники легко развели створки. Верешко едва не споткнулся о кучу тряпья, зачем-то сваленного в придверном углу... вмиг нашёл глазами отца.

Малюта не лежал беспамятный на полу. Не сквернил бороду в разлитой по столу бражке. Сидел почти трезвый. И подле него, о чём-то беседуя, расположился вовсе не Радибор.

Торговец Угрюм, Малютин былой пожилец, обернулся на шум у двери. Заметил Верешка, кивнул с узнаванием, по-доброму и... чуть виновато, или помстилось? Верешко приблизился, перегорая невыплеснутой готовностью вмешаться. Было стыдно перед черёдниками. Получалось, он их зря с обхода сорвал.

– На четыре ветра тебе, почтенный Угрюм, на пути-дорожки безбедные, – отдал Верешко малый поклон. Ниже согнулся перед родителем. – Не гневайся, отик... Люди болтали, с тобой рядом злое случилось...

Глаза у Малюты были заплывшие, в багровых прожилках. Потерявшие способность сосредоточиться, вспыхнуть вниманием.

– А... – пробормотал он рассеянно. – Нашёл, значит... вот как... – Утёр нос и вдруг похвастался: – А я, сын, раба купил! Теперь заживём.

– К-какого раба? – севшим голосом, без должного почтения спросил Верешко. Значит, страшное всё же произошло, Малюта продал если не дом, то полдома уж точно. Одно хорошо. Угрюму продал, не Радибору.

– А вона... – Малюта начал медленно озираться, взгляд шарил, не находя. – Тут где-то...

От сердца чуть отлегло. Отик не впервые нёс небывальщину. Бил Верешка за пропажу медного котелка, забыв, что сам его торговкам отнёс. Теперь вот, мечтавши о покупке раба, выдавал несбыточное за быть.

– Тут он... – Малюта обводил пустым взором кружало. – Только вот был...

На них глазели. Черёдники у двери, гости за столами. Ухмылялись. Ждали, чем кончится.

– Отик... – страдая, начал Верешко и... увидел не замеченное второпях. Порожнюю тряпицу на столе.

В той тряпке он хранил свой денежный скоп. Прятал под гнилой половицей. Думал вечером перечесть: хватит ли уплатить ворожее?

Надеялся, не доищется отик. А тот нашёл, стало быть, и... неужто вправду купил? Раба?.. За этакую казну справного кота-крысолова не отдадут...

Угрюм смотрел то на отца, то на сына. Хмурился. Наконец нетерпеливо окликнул:

– Где ты там! Поди покажись.

Верешко краем глаза подметил, как брезгливо отступили черёдники. Диво дивное! Тряпье, сваленное в чёрном углу, ожило подобием человека. Верешко отказался верить глазам. «Раб?.. Это – раб?..» На плечах тощая гунька, вместо обуви дрянные опорки, подвязанные

верёвкой. Сгорбившись крючком, чудо-юдо пугливо, боком подбиралось к новым хозяевам. Ждало гнева.

Люди за столами начали хмыкать, потом – смеяться в открытую:

– Таких, говорят, под игом в Устье берут.

– Поди, ещё приплаты хотели?

Кто-то молча отворачивается от срама.

– И живёт ведь! Хлеба просит! Горьких горестей пристанище! – Назидательный голос принадлежал Радибору. – Невмерно добра Владычица, свыше милости милует!

В «Ружном дворе» собирались зажиточные горожане и гости. Лакомились тонкими яствами, чинно обсуждали куплю-продажу... поверяли на слово деньги, которые вслух назови – шапка с головы упадёт. Малюта попирал кулаком отставленное колено, смотрел с тупой гордостью. Чувствовал себя в «Руже» снова своим.

– Угрюмище! – неслоь слева. – Где таких мблодцев-красавцев берут? Шепни на ухо...

– Скажет он тебе. Места надо знать!

– С покупкой, Малюта! – вторили справа. – Выпить поставишь?

– А что, подкормится, мяском обростёт, ремесленную подымет...

– Прощай, малый, – окликнул Верешко старший черёдник. – Никто, вижу, отика твоего не теснит.

Вот так. Другой раз кликнешь сполох – ан задумаются, бежать ли.

Приблизившись, кощей сник на колени, подмёл серыми патлами половицы. Затрясся, пряча голову рукавами. Худуший, бессильный, изглоданный дурным обращением или хворью.

Верешко не смотрел на него, смотрел на Угрюма. Купец отводил взгляд.

– Что, сын? – выговорил Малюта. – Сказывал я, раба прикуплю? Или не сказывал?

Верешко больно сглотнул.

– Сказывал, государь отик...

– Идём, детище. Завтра у Мирана шерсти возьмём... что ни есть лучшей... как мыслишь, даст?

– Нешто не даст, батюшка...

Малюта хотел величественно встать, не совладал. Привычно вытянул руку, Верешко подлез под неё, выпрямился, помог. Горожане понемногу усовестились, смешки стали стихать.

– Теперь невольника будет за отцом посылать.

– Да ну. Кощея-то?

– Погодь, вот перестанет его ветром качать...

Выбравшись из кружала на мокрую тёмную улицу, Верешко испытал облегчение. Не далее чем завтра к полудню Господин Шегардай примется чесать языками. Поди решишь выйти в город, навстречу смешкам, жадным сплетням, деланому состраданию хуже всяких насмешек... а невольник вправду хлеба запросит, и где взять тот хлеб?... «До завтра ещё доживи. Дом не выманили, уже хвала Правосудной... на что прежде смерти помирать...» Верешко согнулся, принимая непомерную тяжесть. Сделал шаг и другой. Впереди было темно.

«Пристанище горестей» хромало следом. Волочило ноги, силилось не отстать.

– Мама, не спи!..

Голос дочери.

Детские руки тормошили, не давали уплыть в ласковое тепло, понуждали к усилию: поднять так сладко отяжелевшие веки.

– Не спи, мама... вставай...

Женщина открыла глаза. Ещё одно усилие понадобилось, чтобы понять, отчего под спиной выпирают скользкие брёвна. Кажется, она прислонилась к забору, хотела перевести дух... и омут сомкнулся над головой.

Непутка лежала на боку, мощёная улочка косо торчала перед лицом, сворачивая в болото, а может, прямо в туман, цеплявший крыши лабазов. Вон там, на углу Клешейки, она отогнала парнишку... как там его. Она знала, просто не помнила... эка важность. Он убежал, они с доченькой пошли дальше... а потом...

– Мама, встань... мамочка...

Голос доченьки то звучал внятно, то вязнул в клубках тумана. Надо встать. Одолеть полверсты до Озаркиного кружала. Сюда же она как-то дошла? Иногда женщина трезво понимала: больше не встанет и не дойдёт. Пора говорить доченьке, как она любит её... просто потому, что на другое сил и времени уже не достанет. Затем туман падал ниже, и нужно было лишь чуть отлежаться, перевести дух. С того конца улицы к ней не спеша подходила женщина в кручинной белой понёве, высокая, милосердная. Непутка узнала свою мать, с облегчением выдохнула:

– Что ж так долго!

– Я пряла нити, необходимые для узора, – был ответ, и непутка вдруг увидела волокна тонкого света, тянувшиеся откуда-то выше, сквозь тучи. К ней, к насторожившейся девочке... ко всем в Шегардае. Нити переливались, скользили одна по другой, захлёстывались узлами. Странно, почему она не замечала их прежде. – Твоё веретено наполнилось, дочь.

В прозрачной руке возникли острые ножницы.

– Но как же... – Непутка нашла взглядом девочку. – Она ведь... она...

– Я и ткать неплохо умею, дочь. Неужели в моём полотне твоему дитяти нет места?

– Вверяюсь святой воле твоей, – благодарно выдохнула непутка, и ножницы бросили по сторонам нездешние блики. Больно не было. Знать, всю боль, надлежащую живым, она уже приняла.

Девочка беспокойно оглядывалась: из-за угла выступил кто-то тёмный, громоздкий из-за косматой полуторной шубы. Девочка узнала мужчину, даже вспомнила, как бежала прочь мама, как тащила её за руку: «Не отдам!..» Теперь мама убежать не могла. Она как-то странно, слабо закашлялась... живчик, трепетавший у горла, вдруг успокоился.

– Ну-ка, что тут у нас? – сказал Хобот. Толкнул ногой недвижимое тело.

Девочка кинулась, мётя укусить его руку, казавшуюся из толстого рукава. Не допрыгнула. Отлетела сбита, ударилась о забор.

Хобот уже обшаривал мёртвую. Сноровисто нащупал что-то под платьем, рванул ветхую ткань, добираясь до заветного кошель.

Девочка вскочила, хотела вновь броситься, хотела бежать... Осталась на месте, зачарованная неожиданным зрелищем. Её мама лежала на земле безжизненным комом – и одновременно стояла сама над собой. Лёгкой тенью, сотканной из светящейся золотой паутины.

Эта мама, юная, прекрасная, смотрела дочке в глаза и... улыбалась. Дескать, о чём ты, маленькая? Всё будет хорошо...

У мамы за спиной распахивала крылатый плащ другая тень. Благая, величественная. Только не золотая, а сотканная из глубокого искристого мрака. Вот мама вскинула голову... Ещё миг – и обе унеслись в столбах тёплого прозрачного света.

Хобот остался глух и слеп к чуду Владычицы. Не его это забота, искры звёздные видеть.

– Как есть дура. За серебро отдавать не хотела, сама за так отдала... – Жёсткая ручища взяла девочку за шиворот, весомо пригнула к земле. – Пикнешь – удавлю. Шевелись!

## Победушки

Разбойники, выжившие в бою, утekli вперёд без оглядки: тем, кто сражается за добычу, не любезна смерть ради чести. Ялмаковичи остановились через полверсты. Отдыхались, переглянулись, сочлись. Долго не раздавалось ни слова. Гибель отца-воеводы видели все. Наглую, горестную и постыдную. Лёгкую срамной тенью на всех сирот Лишень-Раза.

Их не преследовали. Победителей снедали заботы куда важнее погони. Да и было бы кого добирать! Воин, бросивший врагу тёплые порты и припас, недолго простоит против воеводы Мороза с государыней Стужей.

– Пало наше знамя, – вымолвил наконец общую боль Лягай Мятая Рожжа. Голос хрипел непривычным бессилием, яростью, отгоревшей впустую. Три слова сказал, по три пуда взвалил: – Как жить, братья?

Девятеро уцелевших и сами всё понимали, но слово есть слово. Произнесённое, опустило головы ниже могучих плеч, неподъёмным гнѐтом отяготило каждое сердце. И правда, как жить?

Не вынеся тяжести сказанного, один из девятерых начал медленно никнуть. Колени подогнулись, витязь неловко завалился, остался лежать, разбросав руки.

– Есеношка?.. – Мятая Рожжа первым устремился к товарищу.

Некогда чёрно-белый, рваный налатник упавшего был красен от крови. Лохмотья скрывали обломок древка. Стрела, брошенная с погубительной силой, пробила и нагрудник, и тело под ним.

Это была понятная, земная забота, уводившая от бесплодных раздумий. Первая лазейка вжиль из мѐртвого горя. Сироты зашевелились, Мятый Рожжа передали длинный трубчатый зажим, сыскавшийся в кошеле. Стрела сидела прочно и глубоко. Такие проталкивают вперёд, чтобы не потерять наконечник, но с Есеной не получалось: стрела ткнулась бы в кость. Нагрудник живо убрали, Мятая Рожжа надел зажим на древко. Покачивая, стал вдвигать в рану. Есень открыл глаза, кашлянул, судорожно задышал. Его сразу схватили за руки, за плечи, прижали. Он посмотрел на товарищей, улыбнулся, сжал зубы. Наверно, это смерть, но с тем его и запомнят.

Наконец зажим стукнул в железко. Втульчатые наконечники раньше сажали на воск, теперь примораживали. От телесной гревы лёд тает. Ошибёшься, упустишь головку – жди потом, чтоб с гноем исторглась. Если исторгнется. Напряжѐнно сопя, Мятая Рожжа развѐл половинки зажима, стал искать лопасти наконечника. Повернул винт, намертво смыкая длинные челюсти. Упѐрся ладонью раненому в грудь, изготовился тянуть и крутить.

Есень шепнул чужими губами:

– Пердунец с натуги не нападѐт?

– Сам итанов не запакости, – буркнул Мятая Рожжа. – А то чистых и взять негде.

Их товарищи рублили еловые лапы, вязали волокушу.

Кошчи собирали разбежавшихся оботуров. Несли раненых в тепло, спешили показаться семьянам. Обдирали, безжалостно погнали чужих мертвецов. Царские не спешили к добыче. Сообща хлопотали над двоими потятыми. Молодой Крагуяр глухо всхлипывал, метался, тянул руки к лицу. Незамайка так и лежал ничком. На нём вскрыли козух, осторожно засушили кольчугу... К лежащему с плачем тянулся крылатый золотой пѐс, воины не пускали.

– Змеевы шульни, – стонуцим голосом выругался угрюмый Гуляй. Он нѐс лук с ещѐ не сброшенной тетивой, он сегодня не трудил больной ноги, но припадал на неё, будто сорок вѐрст отмахал, да всё горками. – Опять юнцы дурные легли! Когда ужѐ мы, старики, черѐд соблюдем?..

Покорёженные ножны с мечами, гусельный короб, разрубленный надвое... Иначе топор Ялмака, угодивший витязю в спину, вышел бы из груди. Кольчуга ему не кольчуга, латы не латы.

– Погодь, Гуляюшка, гневить Матерь Живую, – вскинула белую голову Ильгра. Спина парня у неё под руками была вся залита густой кровью, в стылый воздух куделью восходил пар. – Плохо тебя Сеггар кормит, коль на тот свет спешишь за столы? И этих дурней рано жалеть. Не один подол ещё задерут.

– Тебе ли не знать, – хмуро огрызнулся Гуляй.

Ильгра жутковато ощерилась, блеснули хищные зубы.

– А не то, может, уважишь меня, старичонка безлядвый?

Витязи с невольными смешками подались прочь. Повадки боевой сестры были каждому памятны.

– Ну тебя, – плюнул Гуляй. Глянул выше голов... и лук вдруг вскинулся для боя, а на тетиву, как из воздуха взявшись, пала стрела. – Кого нелёгкая обратно несёт?

Со стороны откоса близились двое. Шли медленно, с непокрытой головой. Тащили пустую волокушу. Показывали руки без латных рукавиц.

– Мятая Рожса с пасербком Ялмаковым, – присмотрелся воевода. Кивнул одному из ближников, первым двинулся навстречу.

В это время недобитков разглядели кощеи. Зарычали, устремились перенимать. Молодой витязь на них цыкнул, не услышали.

– Так, – глухо вымолвил Сеггар.

Кощеев как шапкой накрыло. Замерли, даже будто пригнулись. Воевода стоял в доспехе, лишь вычистил и убрал свой жуткий косарь. Тому, с кем рядом плывёт зримая тень смерти, разумный человек не перечит.

Мятая Рожса и Ялмаков приёмный сын, именем Горик, одолели последнюю сотню шагов. Остановились.

Стрела Гуляя нехотя глянула наконечником в снег. Что делает с человеком такая стрела, ялмаковичи только что видели.

– Так, – мрачно повторил Сеггар.

Недобитки разом поклонились ему, достав пальцами наст. Сеггар молча смотрел на побеждённых врагов. Чтобы вот так прийти к победителям, ещё злым и пьяным от крови, требуется изрядное мужество.

– В наших головах тебе воля, батюшка Неуступ, – произнёс наконец Горик. – Вели казнить, вели миловать. Дай только... отца нашего воеводе честным погребением упокоить.

Сеггар просьбу предвидел. В полусотне шагов, похабно раскинувшись, остывало безголовое тело. На три сажени прочь багровел след, оплавленный сплошными струями крови. В конце следа вмерзало в затоптанный снег мокрое помело – некогда гнедая роскошная борода. Только по ней в костном месиве пополам с жёванной бармицей ещё была кое-как узнаваема голова навшего воеводы. Ни лица, ни достоинства челюсти разъярённого Рыжика Ялмаку не оставили.

Сеггар долго молчал.

– Так и быть, ради былых времён забирайте, – проворчал он погода. – Прежнего брата грех волкам сытью бросать.

Пасербок отбежал с волокушей, горестно пал на колени у тела названного отца.

– Куда отсюда пойдёшь? – спросил Сеггар Мятую Рожсу.

Тот зябко передёрнул плечами, вышла судорога. Влажный поддоспешник плохо защищал от мороза. Гуляй не снимал стрелу с тетивы, глядел зорко и зло.

– На восход думаем. Там Окаянный гуляет. Может, примет под знамя.

Сеггар молча кивнул. С воеводой по прозвищу Окаянный у него не велось особого дружелюбия, но не было и вражды. Он не стал спрашивать, далеко ли вообще Ялмаковы сироты помышляли уйти ранеными, голодными, без припаса. Им даже по чистой рубахе не предложили: мешали тени замученных Неугаса и Хвойки. Без толку спрашивать, чья рука убивала. В дружине житие общее. И слава, и ответ за неправду.

– Молодой твой хорош был, – сказал Мятая Роза. – Гусляр. Он, что ли, Оскремёта свалил или помстилось мне?

Сеггар молча кивнул.

– И перед боем другому отважному славу наигрывал... Не вижу парнишки, цел ли?

На снегу было полно кровавых следов, царские витязи стояли в кружок, ждали от двоих раненых знаков жизни и смерти.

– Тебе на что? – проскрипел Неуступ.

– Нетрудно сказать. Оскремётушка...

Тут со стороны Сечи вновь послышался крик, лютые возгласы. Это молодые кощеи успели сбегать к Ялмаковой стоянке и вот теперь возвращались. Да не одни, с пленничком. Его гнали пинками, потчевали колотушками. Человек срывал голос, плакал, молил. Витязи стали оборачиваться. Последними без охоты повернули головы Неуступ и Мятая Роза.

А что любопытствовать?

Это не ялмакович бился под валенками кощеев, воины в такую таску не даются. И не разбойник из Марнавиных, того бы сразу прирезали.

– Переметчика словили, батюшка воевода! – радостно поведал безусый паренёк. – У ставки прятался, от нас побежал! Каким судом прикажешь судить?

Пленник – ни шапки, ни рукавиц – сбился на снегу в безобразный ком, невнятно скуля, пытаясь прикрываться руками, чтоб в горячих головах не срубили... уязвимое горло ножами не рассекли... Ворёнок поднял его за волосы. Белые выпученные глаза, рот истошной подковой. Страшен, жалок и мерзок зависший между жизнью и смертью!

– Гудила это, – вразнобой подтвердили кощеи. – С поездом шёл, Зорку,шибаю, играл. В ночи пропал, думали, вовсе убёг. А он вона!

Молодой вор поигрывал хорошим, острым ножом, взятым в сражении. Глаза были шальные, бесстрашные.

– Взяли меня! Насилком свели! – нечеловечески тонко крикнул Галуха. Он смотрел на Сеггара, на Мятую Розу, не узнавал ни того ни другого. – Я по нужде... а они...

Нож угрозно мелькнул перед самым лицом.

– По нужде? С саночками, с коробом? А то мы следа не видели.

– Вагуды многоценные... оставь, не найдёшь...

– Твоей воли ждём, государь Неуступ!

Вождь, взявший победу, судит и правит не только воинские дела. Сеггар медлительно повернулся к Лягаю:

– Молви слово, ялмакович.

Заскрипела прихваченная морозом кольчуга. Мятая Роза передёрнул плечами:

– Дозорные на петле привели, дальше не знаю.

А сам усмехнулся.

Сеггар обратил хмурый взгляд к молодому вору:

– Слыхал? Покарать покарали, доказывать не велю.

Кощей чуть не плюнул с досады, но вид Сеггара отрицал все мысли об ослушании. Парни ушли ворча, покинув Галуху, покинув брошенные набок чулки с позитками.

– Вот бы кого перед боем зарезали, а то Неугаса...

– Тогда бы мы их одним кличем повернули. Богам оскорбление!



Горик уже взвалил на волокушу тело приёмного отца, вырубленное из сугроба. Пытался распрямить, уложить руки и ноги, пристойно поместить голову, закутанную в мешок.

Галуха начал смутно понимать, что уцелел. Тряской рукой стёр с лица снег и красную жижу:

– Г-государь Неуступ... я песнями тешишь... я гусяра твоего все песни слышал... все перенял...

– Вот так кому попало щаду давать, – хмыкнул Мятая Рожа.

Сеггар мрачно спросил:

– Может, себе возьмишь? Песнями тешишься?

Галуха повернулся с надеждой.

– Ну уж нет, – дружно откликнулись побеждённые.

Галуха задом наперёд пополз прочь, стучая челом в снег, бормоча невнятные благословения.

– Такой песни воинские запоёт – знамя выронишь, – сказал Мятая Рожа.

– Коли так, на что спас? – спросил Сеггар.

Мелкие хлопоты мешали заняться тем, что было действительно важно. Пойти к раненым, например.

Ялмакович смотрел в сторону.

– Долг платежом... – выговорил он наконец, когда Сеггар уже подзабыл, о чём спрашивал. – Славный Лишень-Раз, не тем будь помянут, нам бирку с зарубками по себе заповедал. Когда б не гнев его, Крыло и ныне бы пел.

Сеггар, без того страшный, осунувшийся, ощерил волчьи клыки:

– Сравнил! Кого Боги в темя целуют, кому велят плевки отскребать!

Мятая Рожа склонил голову:

– Ну прибей его, коль я вовсе не прав. И меня заодно: от твоей руки не обидно.

Ильгра отняла пальцы, испытывая, унимается ли кровь. Она ещё точилась, но рудный ток больше не грозил унести жизнь. Кивнув с облегчением, воевица стала зашивать рану. Прикрыла, велела бережно повернуть Незамайку. Стала обтирать густеющие потёки с широкой груди...

И... вдруг выругалась морским цветистым загибом. Осеклась, хрипло позвала:

– Сеггар! Сегга-а-ар!..

Воевода сразу покинул Мятую Рожу. Такой зов был гораздо важнее полуживых ялмаковичей, а мёртвых – подавно. Столпившиеся витязи расступились перед возжём. Поэтому он сразу увидел, что востревозжило Ильгру.

И тоже для начала помянул какого-то ерыгу, титькой прибитого.

На груди Незамайки, на чистой коже, ещё рдевшей от ратного труда и мороза, справа у ключицы проступили белые шрамы.

Тонкие, очень давние, сплетённые в замысловатое клеймо андархского престолонаследия. Цветы, листья, травы... древние письмена, обличающие парнишку высшим царевичем, благословенным первенцем Аодха и Аэксинэй.

Сеггар с Ильгрой, вырастившие Эрелиса, лучшие многих умели читать царские клейма.

Ильгра вскинула глаза. Сглотнула, закашлялась. Праздно спросила:

– Он сам-то хоть знал?..

## В Устье

...Не угадала Ильгра. Знал Незамаюшка. Всю свою дурную и короткую жизнь – знал. Таился, дурень. От отца-воеводы, от побратимов. Глупый птенец, вздумавший собственными крыльями до солнышка долететь...

– Кончилась твоя воинская дорожка, – сказал Сеггар.

Когда Устья достиг слух, что у Сечи вот-вот схлестнутся Царская и Железная, половина купцов, ждавших кощейского поезда, подобру-поздорову кинулась запрягать оботуров. Оставшиеся смеялись: кому война, кому мать родна. Кто-то да победит. А значит, взятое мечом выложит на продажу! Смешки прятали трепет. Большинство прочило верх Ялмаку, а тот шёл подручье с разбойными телепеничами. Как не струхнуть?

Лишь Геррик из Сегды помалкивал и не двигался с места. Ждал Царскую, ждал Светела. Не сумев разузнать о старшем из братьев, хотел про младшенького в Твёржу весть отнести.

Так что раненым сеггаровичам повезло. Особенно Светелу. Правда, сам он так не считал. Упрямец едва мог лежать в санях на боку, но попробовал вскинуться:

– За что, отец-воевода?

Каменная ручища вовремя пригвоздила, не дав развередить рану.

– А сам в толк не берёшь?

Светел, не привыкший уступать силе, трепыхнулся, но с отцовской властью поди поспорь. Лишь в голосе хрипло прорвалось непокорство:

– Я плохо служил тебе, Неуступ?

Лицо Сеггара, кривое от шрамов, стало ещё страшнее и жёстче.

– Ты, дурак, намерился витязествовать, пока не убьют?

– Я...

– «Я»! Зачем ко мне в дружину пришёл?

– Воином стать...

– А воинство, сказывал, тебе на что?

Светел устался на свою руку, теребившую одеяло. Смолчал, только уши начали рдеть, а за ними всё лицо.

– Будет уже мальчонку корить, – подала голос Ильгра. – Все мы не с жиру железные рубашки примерили. А потом... Во что сердце вложишь, то затягивает, тебе ли не знать?

– Я брата не забыл, – пробурчал Светел.

– Значит, – сказал Сеггар, – способен постичь: дорога твоя зубцами идёт. Локтевину проскочишь, увязнешь. Вовсе с косогора покатишься!

А сам смотрел на Ильгру и видел: она тоже вспомнила, как парень дрался из осыпи. Тайменьей поскачью, клубом ярого пламени!

Такому торный путь не указ, он свой проторит.

Такое пламя нужно уметь обуздывать, направлять. Только время на бережное пестованье кто ж даст...

– А потому внимай, неслушь сопливая, – приговорил Сеггар. – Отлежитесь с Крагуяром у доброго Геррика, ему велю в дружину идти, а тебе не велю. Тебе уготовляю путь в Шегардай, к молодому Эрелису.

Над Устьем, неподвластным морозу, над голыми мачтами кораблей с криком и дракой носились серые чайки.

– Теперь ты. – Сеггар перевёл взгляд на Крагуяра. – Дурак ещё горший. Куда на Ялмака сунулся, головотяп? – Крагуяр молчал, и воевода вновь обратил взгляд на Светела. – От одного он, как от мухи, обухом отмахнулся, второго лезом зацепил... а я теперь отроков обоим на замену бери?

– Воля твоя, отец, – безразлично, не открывая заплывших чёрной опухолью глаз, пробормотал Крагуяр.

Светел заартачился:

– На что в Шегардай? Мне в столицу, к вельможам...

«Я сын царский. А Эрелис что? Ветвь младшая...»

Неуступ грозно свёл брови:

– Поучить бы уму-разуму, ан боюсь душонку вместе с глупостью вытрясти. Пойдёшь, сказано, в Шегардай, да смотри мне, не вздумай в одиночку пуститься. Приказываю сопутного поезда ждать... Что опять рожу кривишь?

– Дикомыту на лыжнице гнездари не това...

– Прикажу, – перебил Сеггар, – с котлярами пойдёшь, не то что с левобережниками. Они вона за сиротами поезд снаряжают!

Светел вмиг ощутил себя ничтожным мальчишкой, а Неуступ продолжил:

– В Шегардае к царевичу приглядишься. Был он мой подкрылыш... да с тех пор как отпустил я орлёнка государству учиться, годы минули.

Светел на время позабыл о жгучих собственных горестях. В беспощадных глазах Неуступа ему приоткрылась тревожная, грустная глубина. Наживи-ка полную голову седины, потом оглянись – снег да ветер, и ни тебе родного угла, и приёмные сыновья – одни смертью пали, других покалечило, третьих в неведомую даль унесло. А воеводе опять вставать впереди, вести Царскую путями чести и правды.

– Там наши при нём, – неловко выговорил Светел. – Косохлёт, Нерыжень...

Сеггар вздохнул. Подпёр кулаком бороду.

– Им между царевичем и смертью стоять.

«...А не мысли его заветные сторожить». Сеггар не сказал, но Светел услышал. Сразу вспомнилось, какими потерянными заменки ждали Мадана. Он спросил:

– И... что мне?

Было больно. Едва притихшая рана выворачивалась наизнанку, защелинами, надсадинами расползалась по всей спине.

– Не знаю, – глухо проговорил Сеггар. «Что мог, сделал, а над прочим не властен». – Знаю только – отныне идти тебе путём царским, путём заповедным. Орлёнка я красному боярину Трайтрену с рукавицы на рукавицу пересадил. Тебе – своим летом лететь.

– А... Эрелис? С ним что мне?

– Не знаю, – повторил Сеггар. – Я воитель, не царедворец. Призовёте мечом и щитом державу оборонять, приду сразу. А меж собою сами рядитесь, вы братья.

«Погляжу ещё на этого брата...» Ума хватило смолчать. Светел смотрел на воеводу, слыша внятное: «И я обоим отец. Увидим, какова мне цена...»

Раненые лежали в открытых санях: воинам в болочке путешествовать не лицо. Крагуяр с трудом раскрывал веки, заплывшие страшной чернотой, говорил медленно и голову на меховой подкладушке едва поворачивал, какое там поднимать. Ильгра боялась повторения участи Летеня, оставшегося калеккой. Светел хорохорился встать – и попробовал бы, не возбрани Сеггар. Ильгра следила за парнем с непривычно мягкой улыбкой, странной на худом хищном лице. Рука временами тянулась к упрямым жарым вихрам. Витязница спохватывалась.

Геррик ходил вдоль поезда, делал вид, будто проверяет сани, сбрую, людей. Хотел уже трогаться, да Сеггар не из тех, кого поторопишь. Оружьи герриковичи робели витязей и пыжились перед ними. Слава скорыми дорожками бежит. Посягнёт ли кто на купца, дружного с Неуступом?

Упряжные оботуры мотали рогатыми головами, пускали тёплые облачка из ноздрей. К саням со Светелом и Крагуяром были подчалены другие, с полными кузовами добычи. Дело купца – нажитое возить, воину обременять себя не рука, не то кончишь, как Лишень-Раз. Сег-

гаровичи почти всё взятое сбыли Геррику на продажу. Оставили при себе лишь подарки Бобрам, в особенности – славным Бобрёнушкам.

– Трогай, что ли, – наконец сказал Сеггар. И слез с облука, более ничего не добавив.

Возчик чмокнул губами, косматые быки разом влегли в упряжь... полозя стронулись, заскрипели, начали приминать снег. Ильгра проехала несколько шагов, всё-таки наклонилась, быстро чмокнула Светела в губы – и была такова. Светел отчаянно вывернул шею, силясь напоследок хоть взглядом дотянуться к невозвратному берегу. К побратимам, Ильгре, вождю...

– Харр-га! – слитно грянуло сзади. Угрюмо и грозно, как перед боем. Мечи, вынутые из ножен, троекратно ударили голоменями по щитам. – Харр-га!

Сердце рванулось назад, в прежнюю, понятную, родную и гордую, великими трудами взятую жизнь... Глаза обожгло. Светел уткнулся лицом в угол меховой полсти.

Геррик шёл рядом с санями, вполголоса приговаривал:

– ...Моим-то радости будет... Жене да сыновушке, сестрице наречённой твоей... а сына тотчас в Твёржу пошлю. С доброй вестью, с подарками...

## В новом доме

Вчера, таща домой постепенно раскисающего Малюту, Верешко всей силой сердца ненавидел купленного раба. За то, что так трудно давшиеся медяки пошли не ворожее, способной вернуть ему отика, а на покупку... вот этого. Корявого, никчёмного, глухо стучащего костылём в двадцати шагах за спиной. Когда Верешко подлез под руку Малюты, кощей, как и подобало, дёрнулся на подмогу.

«Убью», – шугнул Верешко. Раб неуклюже отпрянул, чуть не упав. Гости в кружале снова стали смеяться.

«Грозен сын хозяйский», – сказал кто-то, а другой голос добавил:

«Ужо отыграется за побои Малютины...»

Ближе к дому, когда отик совсем повис на плече, Верешко вспомнил эти слова. Оставил нового домочадца за калиткой, сам кое-как одолел последние шаги через двор. Затащил Малюту в дом, свалил на лавку. Вернулся на улицу.

Дрянной кощей, похоже, не впервые из рук в руки переходил. Сколько прежде Малюты соблазнялись грошовой покупкой, а после искали таких же доверчивых дураков?.. Новокупленный ждал на коленях, покорно подставлял голову. Даже разгрёб нечёсанные патлы, разобрал на стороны, чтобы хозяйскому сыну не пришлось искать его ухо.

Кажется, Верешко всё же дёрнул это самое ухо гораздо больней, чем надлежало. Неистово жаль было денег, выкинутых на ветер. Подступало отчаяние: гоже ли сыну вершить то, на что вправе только отец? Что хуже – как бы подтвердить падение домовладыки или понудить калеку-раба торчать под дождём, пока проснётся Малюта?.. У Верешка чуть слёзы не брызгали, пока он якобы силой втаскивал кощей под релью ворот, как победоносные предки некогда загоняли пленных под иго. Спотыкаясь второпях, раб выронил костыль, еле подобрал, измочив слишком длинные рукава.

– Купили работничка, – вслух простонал Верешко. Открыл дверь, толкнул кощей в тёмную ремесленную. – Вот место твоё!

Рабов он прежде не покупал, но Малюта столь часто предвкушал, как всё будет, что слова затвердились. Раб безмолвно исчез внутри, дверь бухнула...

Намаявшись за день, сын валяльщика обычно засыпал как убитый и спал без сновидений, не тревожимый ни храпом, ни пьяными выкриками Малюты. Сегодня Верешко долго не мог уговориться. Без меры корил себя за скудоумие, гадал, куда впредь прятать накопленное. Стоило слипнуться векам – мерещились стуки и шорохи из ремесленной. Верешко вскидывался, но шорохи не повторялись. Он сползал в дрему и видел, как мерзкий раб шарит по сусекам и полицам... роется в заплесневелых потёмках... а главное, что-то находит, не проданное Малютой...

Утром он слез с лавки задолго до привычного срока. Тело, не изведавшее ночного покоя, дало времени только выскочить во двор, отдать должное шмарнику. Ночные страхи не так легко истекали. Войти в ремесленную вдруг оказалось трудно и страшно. А если раб пустился в бег, осрамляя горе-хозяев?..

«То и к лучшему, если сбежал...»

Верешко засветил жирник, принял грозный вид, дёрнул дверь.

Кощей куда-то не исчез. Верешко чуть не наступил на него, вновь сидевшего в чёрном углу, среди гнилых веников и ветошек. При появлении хозяйского сына раб повалился на колени, проскулил чуть слышно, невнятно. Верешко стоял над ним, не зная, как быть. Сколь же хорошо и весело жилось ему самому! Одетому, обутому... пока ещё под собственным кровом. А главное, свободному и потомку свободных. Людин, утративший достоинство человека, был жалок и мерзок.

– Встань. Покажись, – самым взрослым голосом, каким только мог, приказал Верешко.

Раб повиновался. До того медленно, словно у него половина костей недавно срослась. Тощий, жуткий, а рожа!.. Верешко пожалел, что взялся владычествовать. Рожа за серыми патлами была исковеркана струпьями. Чёрными, засохшими. И знатно расписана синяками свежих побоев. У Верешка провалилось в животе. Он спешно отвёл глаза, но куда-то же надо было смотреть – взгляд бездельно обежал ремесленную.

Дрогнул, обежал снова.

Хоромина была вычищена. Насколько вообще с этим могла управиться одна пара рук. Впотьмах, в чужом доме, где ни тряпки, ни воды на мах не найдёшь. Такой чистой Верешко ремесленную почти не помнил. Его даже осенила дикая, невозможная мысль: а ну Малюта правду сказал? Купить раба – и всё выправится...

– Как ругать буду? – спросил он. Голос вдруг стал из грозного обычным, ломким, мальчишеским.

Кошей еле слышно просипел, прошептал.

– Что?..

Раб честно силился говорить. Верешку заново взгадило от отчаяния, от мысли, что вот эта гноючка будет встречать его на пороге... копошиться в ремесленной... ещё и есть возьмётся просить...

«Ну нет бы на Угрюмовых руках помереть. За который грех караешь, Матерь Владычица?..»

Что-то помешало издать жалобу вслух. То ли выметенный пол, то ли некая внутренняя стыдливость.

– Ну тебя, – сказал он и вышел во двор.



## Варежки

Проводив молодого хозяина, кощей вернулся в ремесленную и стал терпеливо ждать, пока пробудится домохозяин. Вчера Малюта изрядно попиравал на деньги Угрюма. Вспомнит ли, что раба приобрёл? А ну примет за вора, влезшего в дом, а ну прибьёт! Рука у Малюты тяжёлая, это он знал...

Ждать пришлось долго. Когда в передней комнате начались шорохи, неуверенное бормотание и возня, кощей подобрался к двери. Почтительный раб не лезет хозяину на глаза, но на зов является тотчас. А если добрый хозяин сам вздумает заглянуть, раб обязан встречать как положено: преклонив колени. Кощей подумал и приготовился.

Малюта в ремесленную не заглянул. Качаясь от стены к стене, миновал без задержки. Лишь в дверные щели повеяло застарелой скверной отравленного, оскорблённого тела. Вот вывалился во двор, бухнул дверью задка... Погодя вернулся в дом, в переднюю, опять надолго притих. Задремал?.. Новая возня, бормотание, ругань. Малюта что-то искал, не находил. Наверно, очередную горсть медяков, увязанную в тряпицу. Сын повинен отцу ноги мыть, руки натруженные целовать... всякий свой заработок с земными поклонами подносить. Верешко, нечестивый, выучился денежки прятать. Либо, по бездельности норова, вовсе вчера ничего домой не принёс. То и другое заслуживало праведной кары. Вот уж лопнет долгое отеческое терпение, вот уж чья-то морда бесстыжая будет красной юшкой умыта...

Квохча рассерженным пырином, бывший валяльщик заново пересёк двор...

Стукнула, затворилась калитка.

Раб подождал ещё немного и встал. Простое движение вышло медленным, больным из-за никуда не годной ноги. Да хорошо бы в ней была его самая большая печаль...

Молодой хозяин велел прибраться в передней, хмуро добавив: если понадобится. Потом, сказал, ступай, в городе осмотришься. Не то, сказал, пошлю куда-нибудь, а ты не найдёшь.

Дал ключ, чтобы на шее носить, показал, как отпиралась калитка.

*Сознание вернулось, когда сани, прыгая по ухабам, вконец его растрясли. Собачья нарта неслась, как от погони, каждый рывок упряжки выворачивал суставы, ножом резал плоть. Звериный вопль рванулся наружу, но горла не достиг, поскольку кричать было нельзя.*

*Он перво-наперво осознал, что лежит привязанный.*

*Поверх поклажи на санках, мчащихся незнамо куда.*

*Рядом бежали люди, четверо. Кажется, он знал этих людей.*

*Руки больше не были спутаны за спиной – лежали скрещённые на груди, кулаками к плечам.*

*Он хотел тайком осмотреться, что-то понять... Слипшиеся веки не подчинились. За ними плавала багрово-сизая муть. Он попробовал незаметно протереть глаза, потянулся лицом к правой руке...*

*Мир снова обрёл вещественность и воткнул в него ножи, когда сани остановились. Торопливые руки разматывали верёвку. Подхватили беспомощное тело под мышки и...*

*Он-то думал, от стужи ни рук, ни ног уже не отыщется, но тут всё сразу нашлось. И сомкнуло над ним благословенную тьму.*

В добротных городских домах для ночлега хозяевам служат ложницы наверху. Здесь тоже имелась лестница из прихожей, но ступени были в пыли. Туда не всякий день поднимались. Малюта по-людски, по-хозяйски держал опочив, наверно, годы назад. Ночевал в собственном доме, как засидевшийся гость, готовый с утра отбыть восвояси. В истое обиталище. В кружало, где за беседой и чарочкой якобы решались дела.

Передняя комната была темна, а уж дух стоял... Раб приоткрыл маленькое окошко, толкнул скрипучий ставень. Диво, в оконнице ещё сохранялись чистые белые стёкла – недешёвая примета былого достатка. Впору гадать, отчего Малюта их по сию пору не выковырнул, не продал.

Посреди пола виднелась плетёная клеточка для грельного жбана. Чтобы хозяевам, а пуще – глупым детям хозяйским не наживать волдырей. Жбаны в Шегардае начёрпывали густым рассолом. Его жар годился не то что простую воду кипятить – даже печь хлебы.

В окно потянуло свежим дыханием Воркуна, голосами, запахами утреннего города. Соседка жарила рыбу, заодно наставляя на ум старшую дочь: та явилась с вечёрок под утро, к тому же слишком румяная. По ерику плескала вёслами лодка, слышалась песня...

Вершила свой ход простая добрая жизнь, по которой, казалось ему, он и тосковать давно перестал.

На столе, похабно голом без скатерти, в пустой кружке торчал недогарок шегардайской свечи. Раб взял его на заметку, сам стал прибирать разорённое Малютино ложе. Был же день, когда горемычный домовладыка впервые упился до неспособности подняться в ложницу, прилёг здесь, в передней, только на одну ночь... сынишка, поди, заботливо принёс одеяла, прикрыл «уставшего» отика... Одеяла давно стали грудой рванья, не всякий бездомный позарится подобрать, подушка спеклась в комья, пропитанная потом, слюной, чем-то вовсе дрянным. Пол темнел пятнами. Сегодня Малюта поспел в нужник, но так везло не всегда. Раб с горем пополам возвёл на хозяйском одре подобие опрятной постели. Отдохнув, принёс из ремесленной ведёрко и тряпку. Он двигался очень медленно, размеренно, осторожно. Останавливался, садился разогнать огнистые точки перед глазами.

*Мужчины смотрели со смесью злого отчаяния и безразличности, постигающей здоровых людей при виде калеки. Переселенец Непогодые держал путь на север. Купца Угрюма ждал торговый день в Шегардае.*

*«Вот так, – повторил Непогодые. – С дерева снял, а как дальше быть...»*

*Галуха, не решаясь дразнить сурового большака, пробурчал в ворот шубы: «Не было у бабы хлопот... А я говорил...»*

*Угрюм помалкивал. Чесал в бороде. Прикидывал что-то.*

*«Батюшка свёкор...» – вмешался девичий голосок.*

*«Цыц, дура!»*

*«Оттик, он говорит что-то, – встал за невесту молодой Неугас. – Разобрала, Избавушка?»*

*Девка сбросила меховой куколь, склонила ухо к едва ожившим губам.*

*«Продай меня, говорит...»*

*Старшие мужчины фыркнули одним голосом:*

*«Глядный товар сам себя хвалит!»*

*Всё же Угрюм недаром бороду скрёб.*

*«А что, друже Непогодышко... две утки возьмишь? В Устье, поди, каждый сребреничек сочтётся».*

*Большак насупился:*

*«С каких пор в убыток торгуешь?»*

*Угрюм пожал плечами. Движение под толстым кожаным вышло еле заметным. Калека на саночках про себя подивился. Как это, плечом двинуть – и в голос не взвять?*

*«Портно когда облюбует, его память можно, пощупать, – сказал Угрюм. – Нож берёшь, его ногтем пытаешь, звон слушаешь... А в человеке нрав и умения таятся, как искра в кремне. Почём знать, вдруг какую службу сослужит...»*

Справный невольник должен отменно знать город. Чтобы скоро бежать по хозяйским делам, огибая места, угрозные для безответных. С прежних времён кощей помнил Полуденную да Царскую улицы. А ещё тёмную путаницу тропок, переулков, мостов...

Выбравшись за калитку, он сел на толстую приворотную надолбу, украдкой рассматривая юривший народ. Полуденная, тянувшаяся от южных ворот до впадения в Царскую, среди городских стогн была вроде многоводной реки.

– А ведь баяли, желанные, – не вернутся добрые времена!

– Правда Ойдриговича вперёд него самого поспевает.

– Придёт кривдушка на пирушку, а ей здесь – мимо пожалуй!

Вот проплыл дородный ремесленник в распахнутой шубе, надетой не ради тепла – напоказ. По черевчатому сукну богатая вышивка: две вздыбленные рысы держат передними лапами щит, ножны, колчан. Скатный бисер, жемчуг, проблески золотых нитей! Такое узорочье не всякий день извлекают из скрыни. Разве что для годового шествия щитников или великого веча – сидеть на престольной скамье со старшинами ремесла. За домохозяином шли сыновья, тянулась жена, семенили скромницы-дочки. Все разодетые, как для купилища, хотя торговый день миновал. А взгляды! А лица, оживлённые в предвкушении праздника!

Кощей стал поглядывать пристальней. Нынче горожане ждали чего-то радостного, значительного. Такого, что нужно непременно увидеть, вложить в память и детям рассказывать. Полуденную не перегораживали телеги купцов, но людское течение неуклонно стремилось к сердцу Господина Шегардая, к Торжному острову.

– Верно, желанные... только, поглядеть, в старой метле да новые прутья. Была прежде съезжая в городе?

– Когда-то была.

– После Беды много лет без блошницы обходились...

– Теперь зато трепещут злодеи, от черёдников прячутся.

В северной стороне, полускрытый хоботом свисающего тумана, виднелся терем дворца. Раньше, когда долговязый парнишка с лыжами за спиной вмиг дошагал бы туда на неутомимых ногах, терема не было. Только птицы в небе кружили.

– Что, Кармана секли уже?

– О как! Снова в чужую клеть случайно забрёл?

– Не Карман. Заплата, сын его.

– Так он умом скорбный. Не корысти ради, по недомыслию...

– И телом глиста. Темрююшка вторым ударом на полти разнимет.

– Ответ держать он убогий, а мошну с пояса резать, пока государев посланник босоту возле храма чешуйками наделяет...

– И как святой праздник кровью не покропить?

– Не убьёт палач. С бережением пороть будет, с нежностью.

– Не великая, чай, стрета, чтобы большой казнью чествовать. Билу вечному и малая казнь голос даст.

– Велят то есть Заплатке что есть мочи орать? Или скажут крепиться, чтоб оно замест его голосило? А, желанные?

– Не поймали злодея-то, что блудяжину девчонку свёл? Вот кого бы запороть без пощады!

– А вдруг котляры забрали? Им воля...

– Какую девчонку?

Раб ещё поглядел, послушал. Многоголосое скопище было по-прежнему непривычно. Наконец, решившись, он слез с надолбы. Горбясь, заковылял туда же, куда весь народ.

Он сидел, удобно привалясь к колесу. На краю шегардайского зеленца оканчивался санный путь. Двое работников перекладывали Угрюмовы кули из саней в кузов телеги. Ещё один сидел на корточках и, недовольно кривясь, приматывал к ноге кощя лубок. Хозяин зря тратил на калеку припас. Зря его, работника, заботой обременял. Купец хватким должен быть, о выгоде думать. Слишком щедрых к чужим, как известно, с кашей съедают.

Парень резко и туго затягивал узлы, но это ничего, это можно стерпеть, лишь бы не подламывалась ступня.

«Попробуешь?» – спросил Угрюм. Купец стоял умытый, расчёсанный на пробор, в нарядном суконнике вместо надоевшего кожуха.

Он попробовал. Кое-как привстал на колени. Вытащил вперёд здоровую ногу, хотел опереться локтем о колёсную ступицу, раздумал, налёг боком...

«Да ну, – туце скривился работник. – Куда!..»

Он зажмурился. Понудил ноги вспомнить, насколько сильными они были когда-то. Окунулся в багровый огонь, потом в черноту. Левое колено всё же оторвалось от земли.

«Ишь, – удивился работник. Всунул ему под руку костылик. – Петелькой прихвачу, не то уронишь – сам свалишься поднимавши...»

На другой день он выбрался со двора. Доковылял к мостику через ближний ерик. Здесь его чуть не откулачили, приняв за побирушку, вышедшего на промысел.

«Тут тебе не волька какая! В славном Шегардае просят на торгу и у храмов, большие нигде!»

«Да разве просит он, – возражали другие. – Кому какая обида? Руку не тянет, за полы не хватает!»

Он вправду сидел, просто наблюдая, как люди идут мимо на здоровых, прочных ногах. Как десятью ловкими пальцами суют в рот лакомство, одёргивают тканые кушаки и воинские ремни. Как, наконец, в полный голос разговаривают, смеются... даже поют...

«Зато, желанные, Малюта-валяльщик с сумой скоро пойдёт, – вздохнул кто-то. – Скарб домашний весь уже продал, не сегодня завтра стены продаст...»

На третий день кощей вытолз в город.

Вернулся затемно. Мокрый, вывалянный в грязи, со сломанным костылём.

«Всё разведал, что хотел?» – усмехнулся купец...

Он тащился мимо чужих заборов, чувствуя себя голым. Прежде, бывало, ухари-местнички задирали его. Ну не жаловало Левобережье синего глаза, оканья дикомытского... Задорясь, наталкивались на взгляд, нюхом чуяли смешливую, бесстрашную силу... на том всё и кончалось.

Теперь в ухе болталась рабская бирка. Тело против прежнего почти ничего не могло. А что могло, того показывать не годилось.

Невольника горожане привечают по хозяйскому имени.

Рабу почтенного мужа иной раз первыми кивнут, не чинясь.

Раб грубияна и обидчика сам дождётся обиды.

Раб человека неприметного – неприметен.

Надо только привыкнуть.

С уличного стрегня повеяло резкими, дешёвыми вонями. Он покосился. Яркие румяна, густо начернённые ресницы и брови... Со стороны Кошачьего мостика стайкой вывернули непутки. Женщины, в обычное время готовые выцарапать одна другой зенки, шли дружно и смиренно.

– И нашей сестрице дозволено будет через то било к Правде воззвать?

Спрашивала самая молоденькая, ещё не совсем полинявшая, не поблёкшая. Кабы не две косы по плечам да не жадные, глуповатые глазки, была бы хоть куда девка. Другие блудяжки зашикали на неё.

– А как иначе, красавушка, – отозвался статный рыбак. – И тебе дозволено будет, и гостю торговому, и камышничку распоследнему. Только дитё малое да ещё вот он к билу не подходит. Потому – не своей волей живут.

Крепкая рука указывала на раба, отдохавшего у стены. Тот с испугу забавно шлёпнулся наземь, скорчился, прикрываясь драными рукавами.

Женская стайка задрезжала дутыми бусами, рассыпалась обидным смешком, но веселье скоро угасло. Старшая подружка сцапала молодую за руку, потянула вперёд. Городские непутки, всегда языкатые, наглые, извелили страх. Одну уже нашли на Гнилом берегу совсем бездыханную. Вросшую в заколелую грязь, обобранную, раздетую. Сама померла? Злой притчей погибла или всем наветку дала, пастись наказала?..

Сегодня все как одна несли свои колечки на гайтанчиках, укрытые в мякитишках. Ни одна не смела во рту показать.

– Кто знает, желанные! Ждём от царевича правды, а того гляди дождёмся грозы...

– Грозно, страшно, ан как без царя.

– Самовольщиной, оно хуже безотцовья.

– Батюшка, святой памяти царевич Эдарг, милостив был...

– То Эдарг, он здесь рос. А Йерела в золотой клетке неволили, сырым мясом кормили.

– Думаешь, суровой рукой за вожжи возьмётся?

– А било вздынуть хотят, от него обид ждавши...

– Это на Гадалкином носу только знают.

– Толку-то вещим жёнкам платить? Всё сами скоро увидим.

«Будет то, что будет, даже если будет наоборот», – мог бы сказать им кощей. Но он с некоторых пор был способен только шептать.

На Верешка нынче было жалко смотреть. Пока ему грузили тележку, толком не отдыхал. Задремав в печном тепле, вздрагивал на любой шорох. Оборачивался к двери, будто тяжких вестей ждал. Взяв тележку, разгонял её, гружёную, с таким злым исступлением, что Тёмушка пугалась всё больше.

Тёмушка жалела и робела его. Верешко был давним и самым расторопным ночевщиком, но держался особняком. В склоки не лез. Даже сплетен за водоносами не пересказывал. Как к нему подойти?

Для начала Тёмушка надумала спросить Озарку. Кто сведущ в городских делах, если не хозяйка кружала! Озарка была занята: принимала у рыбаков Окиницы щук и плотву мирским трудникам на кормление.

Немного погодя в «Барана и бочку» заглянула Вяжихвостка. Верешко сидел на скамье у входа в поварню – откинувшись к тёплой стене, закрыв глаза, свесив руки между колен. Вяжихвостка обрадовалась ему, как ястреб – беззащитному селезню.

– Ты, чадушко, не последний ли день рученьки трудишь, ножки резвые стаптываешь?

Верешко вздрогнул, очнулся. На мгновение сморщился, как от желчи.

Вяжихвостка склонила голову к плечу:

– Ишь загордовал, кланяться не желает! Отец раба прикупил, так и пащенок важен заделался! Я мамке твоей в малые тётки гожусь!

Вот это она ляпнула зря. Какое могло быть родство у злой бабы с милой матерью Верешка? Парнишка аж потемнел, на лбу и скуле обозначились блёклые синяки. Всё же слез с лавки, отдал поклон:

– На дым коромыслом тебе, тётенька. Не гордовал я. Умаялся, глаза слиплись.

– Стало быть, правду бают на улице? Будто Малюта сокровенное слово узнал, клад из ерика поднял, вчера у Мирана всю шерсть забрать обещался?

Верешко глядел мимо.

– То отика моего дела, не мои. Его пытай, тётенька.

– Клад-то серебром али золотом? Андархи погребли али те, что прежде Ойдрига были?

Тёмушка высунулась из-за двери:

– Верешко, подсобишь?

Затравленный парень так и метнулся.

Вяжихвостка проводила взглядом толстую Тёмушку, бормотнула себе под нос:

– Проку с нынешних молодых. Только знают лопать в три горла!

О палачовой дочке, пригревшейся у Озарки, лучше было вслух прямой правды не говорить. Иным правда глаза колет. Не в час молвишь – мимо порога дорожку покажут. Ни в помочи, ни просто так не зайдёшь. И как тогда первой новости узнавать?

Выскочив за Тёмушкой в приспешную, Верешко сразу понял – пособления не требовалось. Тёмушка ждала его с миской горячей свежей ухи.

– Отведай, пока времечко есть. Живот погрей.

Густой пряный дух, зелень горлодёра, жир щедрыми блёстками! По этой ухе облизывались водоносы: стоит, мол, жбаны в пять пудов на крошни вздымать, чтобы однажды в седмицу Озаркиной ущицей полакомиться. Верешку и ночевщикам не каждый раз похлебать доставалось.

Он благодарно зачерпнул ложкой, но до рта не донёс. Спросил хмуро:

– Тоже про кощея скаредного выведать норовишь?

Тёмушка отвела глаза:

– Тебя грустного увидала... не прихворнул ли... – И вконец оробела. – Кощея? Скаредного?

– А с наших избытков дородного да справного поди купи! Угрюм, гость заезжий, отика хмельного в блазнь ввёл... я туда, а они по рукам уж ударили, купчую крепость запечатлели... не спущу! Пусть шалью всё обратит да калечь свою забирает...

Густая уха гревой проливалась в нутро, воскрешала жизненный жар. Верешко уже сам почти верил в то, чем грозился.

Тёмушка насторожилась, тихо спросила:

– Калечь?

– Как есть. На роже луканьки в свайку играли, и речи где-то оставил... – Верешко передразнил шепечущую, безголосую помолвку кощея. – Видоков бы найти! Вдруг отик беспамятный уже в затёмках с Угрюмищем по рукам бил?

Над шегардайскими ериками и воргами горбились каменные мосты. На четвёртом по счёту раб понял, что расхрабрился в путь не по силам. Какой дворец, какое воздвижение била? Обратно бы доплестись, не сомлевши...

Пришлось укрыться гунькой-заплатницей. Не щадя уцелевших пальцев, сдавить местечки под носом, посреди подбородка...

...Чуть отпустило. Гул в ушах вновь разделился на голоса.

– От Йерела узаконений ждём, а сами каково встретим? – рассуждали поблизости. – Слышали, в городе шалить взялись?

– Охти! Нешто камышнички понаглели?

– Какое... Те хватать, что плохо лежит, – и дёру. А эти прохожего свалят, бьют да смеются.

– Сами в личинах, в рогожных плащиках с колпачками, что близнецы.

– И сапогами пинают, обизорники.

- Знать, не с голоду озоруют.
- Посовестных спрашивал кто? Коверьку?

В боковой улице тренькнули струны, ветром в камышах вздохнула пыжатка. Кувyki! Всё те же. Слепой, хромой да третий горбатый. И вагуды у них пели чуть лучше прежнего.

*Вор от вора родился,  
На кобыле прокатился.  
Хоть дурак, а жалко всё же.  
Люди добры, дайте грошик!*

- С южной стороны бодрым шагом приблизились скороходы, громко закричали:
- Поди, поди!..

Уличная толпа подалась на стороны, расчищая проход. Кошья ненароком сшибли с ног, чуть-чуть приотптали. Эка важность, невольник! Расторопнее надо быть, когда важные господа шествуют!

Высокоимённый господин Инберн Гелха, дворцовый державец, вправду был важен. И вправду не шёл – шествовал. По своему сану мог ехать верхом, но проявлял уважение, шёл пеший со жрецами-единоверцами. Раб, закатившийся под каменный облокотник моста, забыл, как дышать.

- Если взглянется... узнает...
- Не взгляделся и не узнал.

Вот отдалились крики скороходов, потревоженная людская река вернулась к плавному течению. Раб наконец выдохнул. Теперь бы ещё подняться...

Сильные руки подхватили его, с лёгкостью усадили. Сердце успело ухнуть: признали! вернулись! – но его выпустили. Даже рваную гуньку расправили на плечах.

- Чей будешь, старинушка? С кем в город пришёл?

«Старинушка?..» Молодой кузнец был статный, красивый, приодетый к светлому празднику. Лишь каменно-чёрных мозолей никакая мыльня добела отмыть не могла.

- Сам встанешь ли, бедолага?

За мужнин суконник держалась пугливая молодёнка. Совсем девочка, бледненькая, тревожная, только прижившаяся в большой шумной семье.

Она вдруг нагнулась, не забоявшись уроды. Что-то вложила в обмотанную нарукавником горсть.

- Возьми, человеке бедождной.

Он принялся кланяться, смиренно и благодарно. Когда вновь посмотрел – кузнеца с молодидей уже не было рядом, а в горсти лежал пряник. Ну, то, что в Шегардае пряником называлось. Тёмный комочек соложёного теста с вдавленным отломышком водяного ореха.

Кошья, голодный со вчерашнего дня, сразу сунул лакомство в рот. На милостыньке уже скрестило взгляды несколько уличных босяков... из живота небось не достанут!

Мимо, почти задевая калеку подолами нарядных опашней, плыли жёны порядочных ремесленников с Лобка.

- Богато зажила Догада. Ишь, насыточкы чужим рабам мечет.
- А муж потакает. Влюбился, сам поглупел.
- Хочет, чтоб Царица за милостыню чрево ей отомкнула.
- Вспомнила бы, сама чьих черев урывочек! За материны грехи неплодой живёт.
- О как! А ты-то, желанная, к Опалёнихе бегавши, не грешна ли? Сказала бы, да людей добрых стыжусь...

И укатилась прочь визгливая бабья свара. Может, завтра забудется, а может, злой тенью поперёк улицы ляжет. Раб ещё посидел, уговаривая себя на усилие. Наконец встал. Медлительно, тяжело, охраняя левую ногу. Прижал к боку костыль, устало поплёлся назад.

Полуденная качалась перед глазами. Не давать себе спуска. Не давать...

Вернувшись в ремесленную, он осторожно снял гуньку, скроенную из старого одеяла. Расстелил на полу. Было зябко, плечи отвечали малейшему движению глухой болью, обозначая близкую грань, за которой ждали бессилие и казнящая мука. Раб вытянулся на гуньке. Не хотелось ни шевелиться, ни даже есть, только закрыть глаза и перестать быть. Он сжал зубы, уложил руки вдоль тела и стал разводить их, таща по полу. Холод сразу куда-то пропал, на висках выступил пот. Развернуть руки выше плеч так и не удалось.

До конца дня Верешко передумал все думы. Даже прикинул, не взбежать ли к тому самому билу, не грянуть ли на весь город об Угрюмовой великой неправде. Глупость, пустая мечта. Тревожить вечное било – что к присяге идти. На такое отваживаются ради жизни, смерти и чести. Уж никак не за горстку медных чешуек. Тот же Радибор небось дочкам на заедочки сегодня больше потратил...

Другой порожней мыслью было – вдруг отик впрямь отрезвеет, как обещал? Всю не всю – но мешочек шерсти у Мирана возьмёт?..

...Какое! Малюту пришлось забирать с улицы близ «Ружного двора», куда он по вчерашней памяти сунулся было, но выкинули. До дому оставалось, почитай, два шага. Но если пере честь на то, сколько раз падал Малюта и напрочь отказывался вставать... семь вёрст говном плыть, да против течения!

Наконец ежевечерний срам завершился. Сын валяльщика из последних сил ввалился во двор, захлопнул калитку.

Нелепая тень выкатилась навстречу – пособлять хозяйскому сыну.

– Вон ноги! – зарычал Верешко. Позволить рабу к отику прикоснуться – считай, освоачить. Да и помогать из кощя – курам потеха...

В доме было чисто. Непривычно свежо. Жбан, доставленный водоносами, не у калитки торчал – сидел в клеточке, вынутый из войлочного кафтана. Успел надышать жару, что твоя печь. И даже свечка на столе будто сама собой разгоралась...

Яркий свет понудил Малюту открыть глаза, сощуриться.

– Кто? – Палец с обломанным ногтем указывал на чуждого человечешку в доме. – Дружка... без спросу моего... ввёл?

Верешка накрыло отчаянием.

– Это раб твой, вчера купленный. Угрюм его тебе...

Хотел сказать «без правды всучил», не успел.

– Я купил?! – сбросив сон, загремел бывший валяльщик. – У-у-у... наказали Боги сынком! Отцу в глаза лгать!..

Взятому врасплох Верешку досталась заушина, отбросившая паренька на клетку со жбаном. Лозяное плетение хрустнуло, подалось, Малюта кинулся в кулаки – отвёрстывать виновнику всех бед и обид. И отверстал бы, да дрянной чуженин опоздал убраться с пути, встрял под ноги. Грузно свалившись, Малюта немного побарахтался на полу... приткнулся поудобней, захрапел.

Раб и молодой хозяин сидели у разных стенок передней.

– Всё равно тебя Угрюму верну! – В голосе Верешка дрожали злые слёзы, он сам слышал их и оттого страдал ещё больше.

Невольник мазнул космами по полу:

– Не губи... пригожусь...

Даже толстые нарукавники не могли скрыть, что на руках почти не было пальцев.



– Работничек!.. – горестно простонал Верешко. – Ты, гноючка, хоть гашник развязать можешь?

– Могу...

– А ещё ложкой можешь, – кивнул Верешко и засмеялся, потому что иначе надо было лезть в петлю. – Я один ещё и тебя корми? От кого оторвать велишь? Отцу недодать? Самому вполтощά пасть?..

Снаружи в калитку стукнула колотушка. Раз и ещё.

Что за поздние гости? Добрые люди потемну друг к другу не ходят. «Черёдники?! Нешто отика на правёж?!»

Верешко взял свечку, с ненавистью посмотрел на кощея. Пошёл открывать.

На улице с корзиной в руках стояла Тёмушка. Её родитель наверняка ждал поблизости, не в одиночку же дитё отпустил, – но таился. Палач поган, не его это дело – к шабрам во дворы заходить.

– З-здорово, – только выговорил Верешко.

– И тебе на лёгкие колёсики, на гладкие стёжки, – потупилась Тёмушка, а он вдруг заметил, какие пушистые у неё ресницы. – Дозволишь ли на порог войти, слово молвить?

– П-пожалуй, коли не шутишь, – пробормотал Верешко.

Ну не лицо честной девке потемну гостевать. Особенно в доме, где вдовый отец с сыном-недорослем живёт. Люди зоркоглазы, злоязычны. Охнуть не успеешь, подхватит какая-нибудь Ягарма и...

В уличной темноте отдался гулкий кашель. Темрью подтверждал своё присутствие и отцовское одобрение.

Тёмушка решительно ступила во двор.

– Только... ну... беседовать... в ремесленной станем, – поперхнулся Верешко. – В доме... там... ну... отик там спит, умаялся...

Тёмушка спокойно кивнула. Он и не подозревал, сколько в ней, оказывается, было достоинства. Прикрывая горстью свечу, сын валялыщика повёл гостью через дворик, открыл дверь в ремесленную...

...В углу серой кучкой ветоши сидел проклятый невольник. Которого, буде изволит Моранушка, он завтра вернёт обманщику Угрюму. Рабу незачем слушать их с Тёмушкой разговор. Все рабы сплетники. Небось рожу-то искромсали за слишком шустрый язык...

Тёмушка неожиданно подалась вперёд и вконец ошарашила Верешка, низко поклонившись кощею:

– На четыре ветра тебе, заступнику...

Тот дёрнулся, хотел не то встать, не то в ножки ей пасть, но споткнулся на середине движения. Верешко даже задумался, каково оно – жить в таком скудном и наверняка больном теле. «Заступник?..» Тёмушка поставила корзину на верстак, обернулась. Верешко увидел склонённый затылок с толстой чёрной косой.

– Тебе, славному молодцу, на том благодарствую, что доброго раба от трудов своих кормишь-поишь, теплом греешь...

В ремесленной было зябко почти по-уличному, да и кормить кощея Верешко не спешил, чтобы зря к дому не приучать. Догадалась ли Тёмушка? Наверняка догадалась, поскольку спросила:

– Позволишь, сын хозяйский, раба угостить?

Пришлось кивнуть. Гостью обижать не годится. Невольник подполз за протянутым пирожком, прошептал невнятную хвалу, утёк назад в угол. Верешко додумался наконец спросить:

– За что милуешь?

Тёмушка покраснела, спрятала глаза, потом набралась тихой смелости:

– Стыд поминать... но тебе открою. Намедни остановили меня... люди злые. Теснить стали... речи срамные молвили... руками хватили, наземь валили...

Кулаки сплотились сами собой. Может, не самые грозные, но к немедленной битве – всё, чем богат.

– Это кто ж осмелел?.. Батюшки твоего забыли бояться?..

Тёмушка покраснела пуще, сморгнула:

– Те... обизорники. Под куколями, в личинах... рот зажимали... Худо бы мне сталося, да твой раб... то есть не твой ещё...

«Рожей чумазой всех напугал?»

– ...мимо хромал... костью отмахнул... невзначай, да я видела... те его бить, в ерик бросать, а я прочь во все ноги... Ты людям не сказывай...

Кошей совсем потерялся в углу, робел дышать, робел почать пирожок.

– Не скажу, – сурово пообещал Верешко. Кулаки аж сводило. И что бы Царице привести его в тот заулочок вместо калеки? Ещё кто кого бы в кучку сложил, в ерике выкупал!

– Я варежки связала, – совсем тихо произнесла Тёмушка. – Чтоб ему по-людски в люди ходить... Дозволишь?

И развернула тряпицу. Варежки оказались знатные, с крашеной нитью. Верешко взял подарок, молча бросил рабу. У него самого прежде были такие, мамино рукоделие. Отик снёс их в кружало: на что беречь, если стали не по руке?

Тёмушка поняла содеянную оплошность, виновато пообещала:

– Я и тебе свяжу... узорочные...

Проводив её за калитку, Верешко вернулся в ремесленную. Сел на скамейку. Корзина с подношением источала одуряющий запах, но Верешко так устал от чёрных мыслей и беготни, что брюхо тупо молчало. Раб смотрел сквозь серый колтун, сброшенный на лицо. Верешко не видел глаз, но чувствовал взгляд. Почему-то вспомнилось, как споткнулся обозлённый Малюта.

– Ну? – спросил Верешко.

Кошей прошуршал что-то вроде «Добрый господин...».

– Ругать тебя как буду?

И снова зашелестел изломанный ветрами камыш:

– Мгла... этого раба... зовут Мгла...

## На берегу

Волны тихо вкатывались на берег, с шелестом разбивались у ног. Сеггар Неуступ стоял в одиночестве, сцепив за спиной руки, смотрел вдаль. Туда, где истаивали в морской дымке, утрачивали краски пёстрые паруса.

Воеводу не беспокоили. Проводы брата, скитальца морей, были его особым обрядом, в который сторонние не допускались.

Рядом, на длинных мостках, вершилась иная бы́ва, такая же строгая, молчаливая. Двух новых отроков, избравшихся среди отважных кощеев, под руки, спиной вперёд, вели с моря на сушу. Дорожка и Крайша, робкие, присмирившие, во все глаза смотрели на далёкие корабли, как до последнего смотрели бы на родную деревню, уходя с ополчением.

Может, спустя время Царская вновь заглянет сюда. Сеггар обнимет брата Сенхана, а Дорожке и Крайше перепадёт поклон от родни. И они, к тому дню уже витязи, обменяют желанную весть на гордый рассказ о собственных подвигах... А может, вовсе и не бывать ни той встрече, ни гордым деяниям. Судьбу Хвойки и Неугаса тоже все помнили. Своими руками возлагали мёртвых на погребальный костёр, раненых Незамайку с Крагуяром – в сани доброго купца. Есть о чём призадуматься.

Когда паруса затянуло морским туманом, Сеггара окликнул почтительный голос:

– Государь Неуступ?

Молодой воевода, ходивший под родовым прозванием Окаянного, крепко напоминал сгинувшего Коготка. Поди пойми – чем. Потыка Коготок был статен, Сиге Окаянный – невелик телом, опасен, как шило. Коготок рдел безудержной удалью, Окаянный глядел строго и подозрительно. Один под рукой взрослел, другой – чуж чуженин, не сын, не брат. А всё равно... что-то сквозило. «Эх и не живётся вам, молодым. Будто на спор погибели ищите – кто первой...»

– Что невесел, государь Сеггар? – повторил Окаянный. – Славу взял, добычи – век не потратить, порубленных другу на руки передал. О чём грусть?

– Не грущу, думу думаю, – проворчал Сеггар.

Дружины сообща затевали веселье. Родовались свежим лицам, беседе. На берегу высилась роскошная ставка, взятая у Ялмака. Изнутри слышался смех, неслись голоса. Для пира всё уже приготовили, ждали только вождей. Сеггару не хотелось идти. На войлочной стене ещё мрела тень Лишень-Раза, на коврах стыла кровь Летения и Крыла. Он сказал:

– Шатёришко вот надумал тебе подарить.

– Щедро жалуешь, – поклонился молодой воевода. – Самому разве не пригодится?

– Ввычки нет под кровом сидеть.

– Добрый обык, говорят, легко приживается...

– Поздно мне. А скоро и не понадобится.

Карие глаза Окаянного блеснули весельем.

– Нешто, батюшка, вольной жизнью наскучил, решил наземь присесть?

Так вправду делали стареющие воеводы. Садились в приглянувшемся зеленце, женили своих витязей, таких же покалеченных и усталых.

Сеггар хмыкнул, глянул из-под нависших бровей:

– Не в том дело, малец. Зова жду на служение.

Окаянный чуть заметно вскинулся на «мальца», но проглотил. От такого, как Сеггар, ещё что похлеще можно принять, не зная греха. Молодой воевода спросил вежливо, осторожно, словно на тонкий лёд ступая:

– Расскажешь ли, батюшка?

– Ты, верно, слышал про Эдарговича, рождённого для престола...

На Окаянного словно тень набежала. Отвернулся, стал смотреть в хмурое море. Выговорил ровным голосом:

– Нету дела мне ни до праведных, ни до красных бояр. Не зови с собой, не пойду.

Сеггар пожал плечами:

– А я не зову. Ты спросил, я ответил. Просто след нам знать, что вчерашней жизни завтра не будет.

Окаянный смолчал. Стоял рядом – а будто за десять вёрст, кричи – не услышит. Сеггар заговорил о другом:

– Купчина, что ты привёл, не бранится ли?

Молодой воевода сплюнул сквозь зубы.

– Я его в пути уберёг? Уберёг. А каково расторгнется, гребта не моя.

Сеггар про себя подсадовал. Вместо шутки опять вышел щипок. Окаянный ревновал. Он всего-то сопровождал торговца, да и тот ходил недовольный. Меж тем как Царская сокрушила непобедимого Ялмака, обогатилась баснословной добычей. Такой, что на берегу не то что ига не воздвигали – даже оботуров не резали. Храбрые кощеи уезжали в Аррантиаду деятельными, сильными. Своего вожака Непогодя величали царём. Пока ещё в шутку.

Была, правда, в поезде семья, не допущенная к делёжке, и в той семье пасынок. Мальчишка что-то подслушал возле палатки, бросился в ноги грозному Неуступу: «Господин, оборони от неволи... без разуба стану служить...» Сеггар, человек нежалостливый, вспомнил царят. Ныне Котёха бежал пешком в Сегду, тропил путь саням, увозившим раненых.

Окаянный вдруг сказал:

– У тебя борода небось пошире моей, батюшка Неуступ. Дашь совета?

В сторонке прохаживался человек, чьё имя Сеггар слышал, но выговорить не мог: Угу... Югу... Люди всё про всех знают. Посланец явился издалека, ища нанять в гавани воеводу. Он уже был здесь, когда прибыл поезд, но к Сеггару не пошёл. А вот с Окайным его видели.

Младший воевода кивнул через плечо:

– Югвёйн зовёт лихих молодчиков сокротить.

– Нешто без моего совета не справишься?

– Так наймовщик... боярин высокородный.

– Если ты о клятве своей, то не ходи.

– Боярина самого предали, а я предателей не люблю, – начал рассказывать Окайный. – Имя обиженному – Гволкхмэй Кайден...

Воеводы редко делятся разведанным о наймовщиках. «Твоя честь бесскверна, ты мне дорогу не перебежь» – вот что на самом деле говорил Окайный.

– Кайден, Кайден... – задумался Сеггар.

– Он под самую Беду выехал гусей пострелять, а как схлынул пожар...

– Погоди! Не тот ли Кайден, что у царевича Гайдияра старшим сокольничим был?

– Тот самый.

– Так он вроде погиб? Гайдияр у Пропадихи его на выручку ждал, не дождался...

– Там, дядя Неуступ, вот как случилось. Ты к Пропадихе с реки подошёл, а Кайден дал бой варнакам, которые горой отбегали. Кудаша помнишь?

– Как не помнить...

– Кайден со своей охотничьей дружиной деревню от него заслонил. Потом на Пропадиху сходил, там пусто было уже. Он и прижился в той деревне, острожок поставил, взялся землю хранить...

– Погоди, – снова придержал Сеггар. – Отчего он в Коряжин к царевичу не притёк?

– Сперва – от срама великого, ибо на выручку опоздал. Гайдияр всегда нравен был, не простил бы.

– Не простил бы, – согласился Сеггар.

– Потом слух пошёл: вот-вот постановят Гайдияра на государство. Надумал боярин ударить челом, волость сбережённую поднести... а тут наследование сменилось. Он и решил ещё обождать.

– А время идёт, – сказал Сеггар.

– А время идёт, – кивнул Окаянный. – Ныне чаёт Кайдено дожидаться объезда земель... и не себе уже – сыну родовое место вернуть.

Старший воевода нахмурился:

– Нелегко поспеть за умыслами боярскими... да и за твоими, друг Сиге. Что у Кайдена не задалось, коли стороннюю дружину зовёт?

– Предали его, говорю. – Молодой воевода стукнул кулаком о ладонь. – Постарел, глазами ослаб. Стал народишко добро забывать. Норовит бывшего защитника в острожке запереть, голодом-холодом извести. А дружина у него, сказано, охотничья. Все стрелки, но доспехами не богаты. Вона Югвейн у кощеев кольчугу купил, всю дырявую, кузнецу отдал латать...

Ялмаковичи в бою легко не давались. Ополчане их валили вдесятером, забивали вилами, топорами, уродуя железные рубахи.

– Да и как, – продолжал Окаянный, – боярину обратить стрелы на тех, кто за его щитом рос? Боевое знамя увидят, глядишь, со страху притихнут.

Сеггар заметил:

– Моя, значит, заступа твоему... Угу-Югу не глянулась.

– Не в том дело, дядя Неуступ, – улыбнулся Сиге. – Ты добычи в Сегду отправил – возы с натуги трещали. Соблазнишься ли за тридцать болот неторниками ради мази от глазной гнойницы?

Сеггар хмурился, крутил длинный ус.

– Ради мази?..

– Ну да. Мне задаток дорогими лекарствами посулили. Золота-серебра в той волости негусто, а вот зелейщики, говорят, знатные.

Неуступ спросил совсем прямо:

– Так на что тебе мой совет, Сиге? Чем смущаешься?

Окаянный вздохнул, помедлил.

– Места у них глушьё, торго нет, своим кругом живут, даже маяков не пускают. Я начертания смотрел... на Коновом Вене и то понять легче, где зеленцы, где урманы безвыходные. Решил, вдруг ты что подскажешь?

– А имя есть у той украины?

– Уркарах. Земля Вешнего Грома.

– Погоди... это не у Венца ли?

– У него. Там и прежде Беды нелюдьё было: болота да горы каменные... ныне подавно.

Издали долетели струнные звоны. К шатру, окружённый воинами и весёлыми девками, подходил гуслир Окаянного. Югвейн с любопытством повернулся навстречу, но за спиной вспыхнула перебранка. Оружные спутники гонца отталкивали босомыку. Человечишко терзал в руках шапку, одежда выглядела собранной по выкидным кучам, полосы на штанах угадывались с трудом.

– Услышь, милостивец!..

Боярский посланник подхватил полу плаща:

– С глаз уберите.

– Милостивец... – уворачиваясь от черенков копий, зачастил несчастный Галуха. – Напрягатель меткого лука, верховой сокол славного Гволхмэя Кайдена!

Посланник задержался, впервые посмотрел в полные страха, ищущие глаза.

– Что тебе?

– Подобно Хадугу Четвёртому, твой владыка посвящал свои дни благородному искусству охоты... теперь, говорят, он слушает гончих с вершины холма, восседая на войлоках и коврах... Есть ли кому достойно воспеть его былые удачи? Восхвалить доблестных сыновей?..

– Откуда ничтожному вроде тебя знать имя моего прегрозного господина?

– Твоё высокостепенство изумится, узнав, сколь многое достигает ушей никем не замечаемого певца...

Югвейн задумался.

– Ты учён вежеству, – проговорил он затем. – Твой охабень когда-то дорого стоил...

– Дивно верен глаз твоего высокостепенства, – обрёл надежду Галуха. – Этому игроцу случалось петь у подножия тронов. Пока черед злосчастий не ввергла меня в это кáлево, не отдала произволу грубых людей...

Витязи смотрели, кривились, помалкивали. В чужие дела вступать не рука. Лишь Облаку, богоречивому гуслиару, до приличий не было дела. Он надал шагу, сильнее ударил по струнам, пустился в глумливый припляс кругом Галухи с Югвейном.

*Ой, непутка отстиралась,  
Быстро замуж собиралась,  
Вся идёт светла, скромна,  
А ведёрочко – без дна!  
Кто корыстуетя блудом,  
Не мостись к честному люду,  
В нашем хлебе и в дыму  
Не потребен никому!*

Витязи смеялись. Знатный посланец шикнул сквозь зубы, откинулся прочь, как от больного скверной болезнью.

– Господин!..

Югвейн больше слушать не стал. Галуха всхлипнул, ткнулся лицом в облезлую шапку. Через великую силу поднялся с колен, убрёл прочь.

Сеггар сказал без жалости:

– Я бы даже то забыл, что таракан к Ялмаку от нас отбежал. А вот что гуслиара моего злославил – не спущу.

Окаянный с горечью усмехнулся:

– Слабый человек – что былинка под вихрями.

– Слабому надо тех держаться, кто правдой силён. Где был, плесень, когда мой мальчонка кощеев на подвиг воспалял? Почто рядом горло не надрывал?

Облака зазывали в шатёр, где дышали жаровни, но вожди медлили. Глядя на них, гуслиар и сам остался снаружи. Склонил ухо над палубкой, один шпенёк подтянул, другой отпустил. Сладил струны под новую песню. Кивнул сам себе, повёл голосницу – не очень громко, но у вежи смолкли все разговоры. В гусельном искусстве Облак склонился бы разве перед Крылом. Но Крыла убаял добрый Киян, а Облак – вот он, живой, голосистый. Воеводе слава, людям веселье.

*Надо мною шумели  
То берёзы, то ели,  
По старинному тракту я заканчивал путь...  
На высоком кургане,  
Что в былинах помянут,  
Притомившись под вечер, я прилёг отдохнуть.*

Надо было видеть, как он играл. Левая рука подцепляла густые рокошующие созвучья, правая порхала в верхах, выщипывая голосницу. За такой игрой легко следовать голосу, но пальцы мелькали – навзрячь ухваток не переймёшь. Про Облака говорили, что он не любил делиться умением.

*Так-то славно лежалось  
На траве, что шепталась,  
Провожая и славя угасающий день...  
А когда над погостом  
Вышли первые звёзды,  
Из ночного тумана тихо выплыла тень.*

*При секире калёной  
И в броне золочёной,  
Родом прямо из песен, из старинных времён,  
Молвил воин сурово:  
«Ну, потомок, здорово!  
Будешь гостем желанным!» И отвесил поклон.*

Окаянички слаженно подтягивали любимую песню. Красно пел один из первых витязей, Смёшко, но Облака всё равно слышать было над прочими. Такие голоса зовутся крылатыми.

*Между яви и бреда  
Завязалась беседа  
Про жестокие битвы, про последний заслон,  
О редёющем строе  
И о клятве героев  
Всю-то ночь до рассвета мне рассказывал он.*

Гуляй кашлянул, подхватил знакомые слова. Облак нашёл святотатца, закатил глаза. Гуляй смущённо умолк.

*В этой сече кровавой  
Не искавшие славы  
К поколениям юным обращали свой крик...  
...Лишь о том, что ни вести,  
Ни улики той чести  
Не дошло до потомков, сокрушался старик.*

*Над вершинами елей  
Огоньки побледнели.  
Протянул мне воитель свой колчан из-под стрел:  
«Завещанию внимли!  
На родимую землю  
Отнеси...» И растаял. И назвать не успел.*

Ильгра вдруг сказала Гуляю:  
– Вкливо гудит. Незамаюшка лучше сыграл бы.

Гуляй посмотрел недоверчиво. Как равнять? Незамайка хрипел, рычал, больше сказывал, чем действительно пел. Всё же нутряное чувство не позволило отмахнуться.

Ильгра задумалась, тихо пояснила:

– Окаянич голосом красуется. А наш... сердцем в песню входил.

Взгляд Гуляя оттаял. Беспощадный стрелок с неумелой нежностью приобнял воительницу, шепнул:

– Вернётся он, Ильгрушка. Новые гуселишки наладит.

Она ответила ровно:

– А пусть попробует не наладить.

*Что же случилось со мною?*

*Я лишился покоя.*

*По людским поселеньям сам как тень прохожу.*

*Где те гордые стрелы,*

*Что в колчан поседельи,*

*Как в отцовскую руку, я однажды вложу?*

*Где над новенькой зыбкой*

*Я увижу улыбку*

*Храбрецов, отстоявших наше счастье в бою?*

*Там я сяду, усталый,*

*Там я старым и малым*

*О героях былого эту песню спою.*

Сеггаровичи беседовали негромко, но Облак услышал. Взгляд ревниво блеснул. «Голосом, говорите, красуюсь? А вот что послушайте!» И, не осёкшись, увенчал песню, вынес последнее слово то ли нескончаемым зовом одинокого странника, то ли последним кличем героя, летящим сквозь годы и вёрсты.

Хотелось немедленно отозваться, рвануться на помощь...

– Вот так, – сказал Сеггар. – Мёртвый живому попечение передал. Был у меня друг задушевный...

– Знаю! Космохвост, рында царевича шегардайского, – кивнул Окаянный. Может, он сам того не хотел, но прозвучало: «Горазд ты, дядька Неуступ, темя долбить! Сказано, к праведным не пойду. С себя репы обирай!»

Старший воевода всё так и услышал. Насупился, замолчал. «Ладно, Сиге. Сам живи, сам почёсывайся...»

– Ещё пой! – тербили Облака.

Сеггаровичи просили:

– Нашу давай!

Облак напоказ раскашлялся, заломил бровь:

– Вашу?

– «Гусли, звените сами собой...»

– Такой не знаю, – важничал игрец.

– Да мы напоём, ты подхватывай.

И напели. С торговой стоянки отозвались воем собаки. Облак шархнулся, зажал уши ладонями:

– Ну вас! Телега закрипела, давно дёгтю не ела...

– Уж как умеем. Подхватывай знай, Облак ходячий. Или невмочь?



– Да с вами «Лебедь плакала» от «Чиженька щебечет» не разберёшь. Каков загусельщик был, таковы подголоски!

Царская потемнела, заворчала:

– Ты нашего Незамайку не трожь...

Чем грозней воин, тем сдержанней. Однако даже из мокрой колоды можно добыть огня, а из живых людей – подавно. Смешко, могучий стрелец, заметил рождение ссоры, подступил к Облаку:

– Гусли дашь?

Облак неохотно снял с плеча цветную обязь.

– Мировщик твой Смешко, – сказал Окаянному Сеггар. – Прямо Летень мой.

Младший воевода спросил с искренним участием:

– Как он?

– У дикомытов прижился. Жену повёл.

– Гусельки мои бедные! – громко сетовал Облак. – Замучит вас неумеха, голоса звонкие растеряете...

У Смешки в самом деле сразу не получилось, струны прозвучали враздрай. Облак в показном ужасе бросился спасать вагуду, Смешко под общий хохот от него побежал.

Попробовав созвучья, он всё-таки сплотил дикообразные голоса, повёл за собой.

Облак еле дождался завершения песни.

– Ну вас, люди страшные! – Отобрал у Смешки гусли, ещё трепетавшие последними гулами. Заглушил струны, взялся проверять, в порядке ли, бедные. – Молодёнку, лук верный да гусли, душу свою, кому попало не вверяй. А то хватают руками корявыми, затевают погудки неведомые...

Он ждал смеха, но Царская не поняла.

– Незамайка песни слагал, может, без тонкостей, да боевые!

– Сам на крыльях летел и нас поднимал!

– Его гусли Крыла охотой приняли, а уж он их берёт...

– Струночек не порвал, шпенёчков не пошатнул.

Облак обиделся, убрал гусли за спину.

– Ага. Пока в бою не сгубил пустого бахвальства ради.

– Ты с тем не шути, чего в руках не держал! – тотчас полетело в ответ.

Гуляй зловеще спросил:

– Бахвальства? Пустого?

– А чего ещё для? Отрок вчерашний двумя мечами вышел махать! С гусельным коробом вместо щита, чтоб люди смотрели!

– Ты там был, языкатый? Сам видел?

– На теле заживёт небось! А гусельки дивные пополам!

Шутливая перепалка сворачивала в недобрую колею. Воеводы покосились один на другого.

– Придержал бы ты болтуна, Сиге.

– Что так, дядя Неуступ? Вроде хорош был, пока переметчика лаял?

Молодой сеггарович, Хонка, меж тем бросил Облаку:

– Тебя бы Ялмаку под топор!

Нельзя такого желать. Даже для красного словца. Хонку не одёрнули: любки кончились.

– От Ялмака, знать, пустая слава осталась, раз топор в корытце завяз.

– Ты ещё скажи, не Ялмак секиру метал...

– И скажу! Лишень-Раз с чего прозывался? С того, что одним ударом дух отпускал! А тут и Крагуяр жив уехал, и Незамайка вставал уже, у саней идти порывался.

– Что творится, Гуляюшка? Нешто хотели общие столы столовать, слово братское молвить? С этими?

Ильгре сразу закричали:

– Ты-то заступись, заступись!

– Не твоё дело одну косу плести. Надвое разбирай!

– Сладко, знать, молодой гуслиар целовал!

Суровый Гуляй кинул в снег рукавицы. Молча пошёл, засучивая рукава. Облака вмиг убрали за спины, встречу Гуляю выступил Смешко:

– Словам воля, а на певца руку не подымай.

Гуляй в ответ зарычал:

– Такая вера у вас, чтобы за дурной язык ответа не знать?

И сошлись в кулаки. Для истого боя, чтобы оружие обагрять, всё же повода не было. Окрики вождей чуть-чуть опоздали. За Гуляем кинулась Ильгра, к Смешке тоже подоспела подмога.

– Своего загусельщика не сберегли, нашего избыть посягаете?

– Да мы ласково поучим. Только струны сдерём, ими же и отходим.

– Себе нового играца приманите, его и учить будете. Вона гудила праздный шатается, чем не гожд?

Смешко внёс Гуляя в угол шатра, так что внутри заскрипели, расседаясь, решётки. Юркая Ильгра пустила мимо чей-то тяжкий кулак, её собственный влетел в раскрывшийся бок, точно боевая стрела. Воина, из которого таких Ильгр можно было сделать трёх, вмяло в ту же многострадальную стену.

– Унялись! – рывкнул Сеггар. – К наймовщику кровавы придут, задатка лишатся!

Ильгра услышала первая. Смирилась сама, подзатыльником смирила Дорожку.

– Отрыщ! – укротил своих Окаянный. – Кровавым, дядя Неуступ, в найме не откажут. А вот льстецы царские – задарма не нужны.

Сеггар не стерпел:

– К боярину своему побежишь, южнее бери. Там тебя Ялмаковы недобитки ищут, под знамя проситься хотят.

Дружины, похмельные, угрюмые, разбирали шапки и рукавицы. Окаянный был бы рад удержать за собой последнее слово, но Сеггар уже отвернулся, шёл прочь. А в спину кричать – что после драки кулаками размахивать.

Попировали, стало быть. Черева яствами обогрели, хмельным пивом горести смыли, душу песнями возвеселили.

Злосчастный шатёр так и торчал перекошенным на берегу. Сеггар подарка не отозвал, а Окаянный не принял.

Рассвет застал окаяничей уже далеко. Не дождутся их ялмаковичи, глаза проглядевшие в морозную даль. Оставив привычные тропы, дружина уходила в весеннюю сторону окоёма, ведомая Югвейном.

Легко и весело скользили по снежным волнам саночки воеводы. Качался среди мяготи родовой щит, завёрнутый в драгоценную ткань. Багровое поле, белая пятерня, обвитая цепью. Ныне по сторонам праотеческой длани темнели ещё два отпечатка. Рассерженный Окаянный не ограничился простым рукобительем. Наймовщик с наймитом отворили жилы, скрепили слово печатью. Такой, что смоеся лишь кровью бунтовщиков, замысливших непотребство против Гволкхмэя Кайдена.

## Размятие уха

*Лыкаш бежал знакомой лыжницей.*

*Громко сказано – бежал. На самом деле чуть полз, ирты давно стали пудовыми, дыхание рвалось и хрипело... останавливаться было нельзя. Остановишься – тотчас настигнут.*

*Возьмут в кольцо.*

*Спросят, не теснит ли брюха державский пояс.*

*Велят развернуться, погонят обратно. Туда, куда он идти совсем не хотел.*

*Всунут в руки самострел с коротким толстым болтом, уложенным в лонце. Велят явить меткость.*

*И это почему-то было так страшно, этого настолько нельзя было допустить, что Лыкаш продолжал переставлять ноги. Тяжёлые, непослушные, готовые подломиться. Позывы тошноты натягивали тёплую повязку, она не давала дышать, Лыкаш почти решился сорвать промокиющую тряпку... Потом обернулся.*

*За ним шёл Ворон.*

*Дикомыт улыбался и протягивал Лыкашу заряженный самострел, выговаривая разбитыми губами: «Не бойся». И вроде бы ещё что-то, похожее на просьбу, но Лыкашу скверно давалась безмолвная речь – больше ничего не мог разобрать.*

*Он шарахнулся от беспалой руки с самострелом, отчаянно и невнятно закричал сквозь повязку...*

*Проснулся.*

В покое, где прежде почивал Инберн, имелась драгоценная редкость – окошечко, забранное белым стеклом. Снаружи проникал синеватый и мутный утренний свет. Это значило – пора вставать. У державца Чёрной Пятери всегда полно дел.

Рядом проступило в потёмках круглое девичье лицо, блеснули моргающие глаза.

– Господин?.. – боязливо прошептала стряпеюшка, взятая вечером на ложе.

Лыкаш отбросил одеяло, сел. Тело, взопревшее в приснившейся гонке, ещё не чувствовало холода. Он подтянул к себе раскиданную одежду, влез в тельницу...

Господин Звигур, третий по старшинству в крепости.

Днём раньше зеленец рвала и трепала очередная метель. Замело не только передний двор – хлещущий снег ворвался внутрь крепости, набился в щели и закоулки. Теперь, когда туман залатал раны, набрякшие залежи сходили не только с Наклонной – с крыш уцелевших палат, с застрешин, рубцов и полочек каждой стены. Младшие ученики сновали лопатами, едва поспевая чистить дворики и проходы. Санки, доверху набитые снегом, пока вывозили просто наружу, потому что дорогу на бездонный овраг ещё не пробили.

Ничего особенного, в самом-то деле.

Так считали и хозяева затонов, сущих под рукой воинского пути.

Неспешные оботуры выплывали из курящегося уброда, сзади переваливались возы. Съестной оброк для Чёрной Пятери прибыл в оговорённый день.

Поезжане выглядели одинаковыми меховыми кулями, белыми от куржи, но Лыкаш всех различал. Зря ли столько раз встречал их здесь с Инберном. Прежний державец и теперь как будто шёл рядом, советовал, напоминал.

– Как там Неустрой? Выправляется?

– Заступой Владычицы, господин... земной руки...

– Козлят брали у нас.

– Уточек молодых дали им, по-соседски.

- Сучоночек четырёх, с кобелишском...
- Непогодые уходил, свои пруды им оставил.
- Пруды из земли не вынешь, в Аррантиаду не увезёшь.
- Девку Неустроеву небось взял увёз.
- Какую?
- А Избавку, захребетницу. Она...

Лыкаш дальше не слушал. Сказ был если не закалелый, так залежалый, а победушки с тех дел родились такие, что до сих пор ночами спать не давали.

- Твоему высокостепенству наше почтение...
- И тебе поздорову, Недобой.

Большаку помогал старший сын, Лиска. Сведали они или нет о судьбе младшего, Лутошки, – господин Звигур не знал и знать не хотел.

- Помечай, Бухарка: от Недобоя-хозяина доправлено...

Бухарка кивал, царапал писалом по берёстам шнуровой книги. Мешки мороженой рыбы, связки битых гусей... Жители зеленцов с боязливым уважением смотрели на лёгкую грамотность моранича. Где им было знать, что помощник державца, такой важный, учёный, оружный, был на самом деле наказан. Не уберёгши жоака на выскирегском орудье, властвовал теперь над робушами. Стоял на очень скользкой ступеньке. Слушал Воробыша, а о воинских орудьях не смел мечтать.

Робуши с мирскими служками забирали привезённое, переправляли одно в морозные амбары, другое – прямо в поварню, где готовилась для будущих походов мурцовка.

Здесь же, у ворот, похаживал вездесущий Шагала. Поглядывал то на крепость, то на лесную дорогу, кого-то ждал. Просто ждать было холодно и тоскливо, Шагала топтался, вертелся, лез не в своё дело.

- Крепче притягивай, выпадет! Ещё грузи, не надсядешься! А ты куда?
- Почтенные бородатые возчики на всякий случай молчали.

Лыкаш про себя злобствовал, но тоже виду не подавал. Наглый гнездарёнок ему не мешал напрямую, поэтому щунять Лихарева подкрылыша, пожалуй, не стоило.

- «Вот Инберн его бы враз осадил. А я?...»

Когда оботуры с опустевшими саями скрылись в белой пелене, Лыкаш с подобающей важностью двинулся назад в крепость – и тут обратил внимание на слегка неуклюжую походку Бухарки.

- Всё же воинский путь приучал смотреть прямым взглядом, ловить всякую мелочь.

Уже во дворе Лыкаш тихо спросил:

- Чем недужен?

Отпираться было без толку. Бухарка грустно сознался:

- Боляток болит...

Шагала вынырнул прямо из-под ног, засмеялся:

- Никак Ознобишка и тебя пырнуть совладал?

Бухарка зло отмолчался. Подобало бы в ухо дать... ан не с руки. Но и замечать гнездарёнка он не желал.

- Где сел-то? – вздохнул Лыкаш.

Мораничи блюли себя в чистоте и обычно чирьями не страдали, но с того злосчастного орудья Бухарка явился чёрный, тощий, померклый.

– Так вот отчего мыльню обходишь! – обрадовался Шагала, словно это знание вручало ему желанную власть. – Где расчесал? В сумежье, что ли? На шулах?

Бухарка гордо выпрямился, пошёл ровно.

Шагала оглянулся – со стороны дороги показались двое воронят. Ирша и Гойчин снимали лыжи, стоя перед воротами. Из-за метели простая вылазка в деревню – свезти угощение старухе Шерёшке, вернуться с глиной для красок – растянулась на трое суток.

Шагала сразу всё забыл, побежал к ним:

– Идите быстро! Учителя ждать понуждаете!

Лыкаш с облегчением увёл Бухарку чёрным двориком к стряпному входу, но не в самую поварню – в клетушку, где некогда обитал кабальной. Теперь здесь была снадобница. Прежнюю затопило в скорбные дни, когда истекала жизнь Ветра. Плыли по рукам склянки с лекарствами, ноги хлюпали по воде, думалось об упадке, о том, как дальше всё искриво пойдёт...

Ничего – снадобья спасли. Может, и остальное не истребится.

Когда закрылась дверь, Бухарка прилёг животом на ларь, кривясь, осторожно распустил гашик:

– Вот...

Лыкаш посмотрел. Чирей надулся хоть и не в сумежье, но место выбрал непотребное. У вихлеца, где разделяются половинки. Впрочем, больное место всегда неудобное и неудачное. Веред же что в доме хозяин: сядет где хочет!

Тестяной лепёшкой забагровевший нарыв останавливать было поздно. Державец только вздохнул:

– Что ж раньше не сказал?

– Ну...

– Вот и «ну». Теперь воняй на всю крепость, пока лопнет.

И снял с полки горшочек, пахнувший земляным дёгтем.

Тут снова бухнула дверь. В снадобницу вскочил Шагала, всё сразу увидел.

– О! А я полечу?

И устремился вперёд, но терпение Лыкаша на этом иссякло.

– Вон!

Годы рядом с Инберном не минули даром. Шагала, повинный одному Лихарю, удивился, замер, услышал. Тихо-тихо скрылся за дверью.

– Жаловаться побежал, – пробормотал Бухарка.

Лыкаш ответил громко и гневно:

– А пусть! Учитель ещё добавки даст. Кулаком! Заслушание! За презрение!

Он уже прилаживал повязочку с мазью, разжигающей нарыв для выхода гноя, когда в дверь стукнули. Почтительно, с робостью.

– Кто там ещё? – не сразу отозвался Лыкаш.

В щель заглянул Шагала:

– Если позволено будет слово сказать...

– Сказывай.

– Можно я, господин державец, к твоей мази добавлю размятие уха, как учитель показывал?

Лыкаш и Бухарка с сомнением переглянулись. Шагала зачастил:

– Нам учитель пробовать велел. И сам тело белое в наши руки вверял...

– Ну его, – проворчал страдалец. – Пусть мнёт.

Гнездарёнок обрадованно прыгнул вперёд, но Лыкаш придержал:

– Сперва истолкуй, что делать намерен.

Шагала согрел пальцы, взял Бухаркино ухо:

– Вот здесь мы мнём, если у кого сердце ноет или дышать тяжело... здесь – если кто постелью ослаб... а вот тут – если что-то у поясницы случилось!

Объяснял он верно. Державец лишь строго добавил:

– Утин прыскак справному воину не вчини. Дальше кожи посягать не велю.

В поясице, как всюду в человеке, много всякого разного. Кости, мясо, боевые и черно-кровные жилы, уязвимое беложилье. Ещё не хватало, чтобы завтра Бухарка согнулся, а разогнуться не смог.

Шагала сосредоточенно мял ухо старшего ученика. В ворота грубой тельницы мелькал оберег: небольшая косточка на шнурке. Лыкаш эту косточку обходил взглядом как мог. Он-то знал, откуда она.

В покоях Ветра теперь было что-то вроде малой молельни. Лихарь смиренно остался в Торговой башне, и его жилище выглядело совершенно как прежде. Узкое дощатое ложе, оружие по голым стенам... список «Великой Стреты», недавно завершённый Надежкой... из божницы в углу – строгий взор Владычицы Мораны, единой во множестве ликов.

Получив дозволение войти, воронята прижались один к другому возле порога. Ждали наказания. Так-то они ничего вроде не натворили, но Лихарь найдёт. За то, что метель у Шерёшки пересидели... за прозвище непотребное... Сейчас как отрешит от унотства! Оружие прикажет сложить. К робушам отправит...

Лихарь, по своему обыкновению, не сразу к ним повернулся. Сидел на топчане, обложившись книгами, старинными свитками. В очередь раскрывал, сравнивал написанное, искал что-то и хмурился, не находя. По полу гуляли сквозные токи, но закалённый воздержник сидел босой, в простой белой тельнице, лишь выделялись на локотнице ножны боевого ножа.

«Волчий зуб и лисий хвост...» Воронята уставились на знакомую рукоять. В животах гадостно и согласно урчало. Ножны были новые, потому что старые испортила кровь.

Лихарь наконец закрыл большую пыльную книгу.

Поднял глаза.

Неожиданно улыбнулся.

Стало ещё страшней.

– Кары ждёте? – спросил грозный учитель. – Я без вины не караю.

Встал, прошёлся туда-сюда. Две пары глаз следили за его рукой, за ножом дяди Ворона. Другой опоры здесь не было.

– Вы, – продолжал Лихарь, – так долго ютились под чёрным крылом, что стали ждать казни из-за чужой нелюбви. А я хочу орудье вам дать. Пойдёте на Коновой Вен.

Ирша и Гойчин разом сглотнули, ожидая страшного продолжения: «Семьян отступника... мать, отца...»

Лихарь взял со стола узкий берестяной туесок, закупоренный с обеих сторон. В таких, сохранённые от случайной порчи и недолжного любопытства, путешествовали важные письма.

– Орудье несложное, требует лишь ответственности. Подойдите. – Поперёк стола, шурша, развернулось начертание левобережных земель. – Вот здесь, по дороге в Вагашу, встретите купца Нечая. Скажетесь родней из Нетребкина острожка, он поймёт. С поездом добежите до Торожихи. Там дело вам – торговыми рядами похаживать, об острожке своём рассуждать. Кто надо, услышит, к вам подойдёт, станет спрашивать, как тёткина коза поживает. Отдадите письмо, ответ примете да мне принесёте. Совладаете ли?

Уноты согласно припали на левое колено, прижали к груди кулаки, одним голосом метнули словесный образ готовности:

– Волчий зуб, лисий хвост во имя Царицы!.. Совладаем, учитель!

– Мирское платье и припас державец вам даст. Завтра, как светать начнёт, и пойдёте.

Несколько времени спустя к Лихарю осторожно вошёл стень. Принёс ещё стопку книг, озаглавленных сходно: «Снадобья одурные и острые», «Зелья отрутные, сиречь яды».

– Учитель... дозволишь ли спросить...

– О чём, Хотён?

Стень помялся, но решимость возобладала:

– Ты же не Ворона семью казнить их отправил?

В светлых волосах Лихаря почти не видна была седина, густо опутавшая голову после гибели Ветра. Он усмехнулся, не отрываясь от книги:

– Ты заботлив, Хотён. Когда-нибудь это сделает тебя хорошим источником. Многие мне советовали вырубить корень, давший скверную поросль. Моё сердце тоже пылало жаждой расправы... да и новые ложки, коих ты скоро доставишь, легче уразумели бы свою крепость котлу. Однако наставник, пребывающий ныне с Матерью нашей, не звал бы меня сыном, умей я внимать лишь голосу сердца.

Хотён напряжённо морщил лоб. Он исполнял вышнюю волю, как послушная и сноровистая рука, за что стеном и стал. Однако быстрой смекалкой, подобно Ворону или даже Пороше, похвалиться не мог.

– Учись мыслить превыше обиходного чувства, Хотён, даже если это праведная и законная месть. Дикомыт, источник нашего горя, в глазах простецов есть слава воинского пути. Тень во тьме, рука ниоткуда, воля Владычицы!.. Люди знают про нас только то, что мы им сами показываем. Теперь скажи, нужно нам объявлять на всё Левобережье, что гордость тайного воинства сгнила изнутри, а мы и не знали?

## Должок Кербоги

Каждая скоморошья ватага, суцая в Левобережье, держится своих кормовищ и на чужие не лезет. Общий сбор и совет может перекроить многолетние тропки, но такое происходит нечасто. Есть ватаги сильные и зубастые, как у Шарапа. Этим бояться нечего, они сами кого хочешь и слушать заставят, и мзду соберут. А есть ватаги всего в два-три человека, да и тех – один старик, другая девчонка. Им вовсе беда у чужого зеленца, где скоморохам не рады.

До Линовища, куда Кербога был зван к празднику обетования, оставалось трое суток пути.

Дороги год от года становились всё тяжелей, но когда близок дружеский кров, где тебя ждут, где верят твоим новостям и радуются гудьбе...

Для стоянки выбрали оттепельную поляну в лесу, немного в стороне от прогалины, бывшей некогда большаком. Кербога хорошо помнил эту поляну. Когда-то она была почти ровень с подъездом, время и снегопады превратили её в глубокую чашу, полную густого тумана. Тёплый пар вставал шапкой, как опара в квашёнке, лился через края, тянул кверху щупальца, постепенно истаивал. Внизу, на едва отогретой земле, пытались расти стойкие пупыши.

Кербога с дочерью распрягли косматых быков, пустили отдыхать и пастись. Оботуры привычно ушли по скользкому спуску. Их цепкие копыта никакого льда не боялись, а впереди манила свежая пища. Следом ускакал пёс, прибившийся к скоморошне с месяц назад. Кербога проводил его взглядом. Лохматый чёрный кобель был очень смышлённый, из тех, что тянутся к людям. Бегал, поди, в упряжке рулевым, если не жожаком. Арела уже выучила его кувыряться и вставать на задние лапы. Так дело пойдёт, скоро под дудочку запляшет на потеху народу.

Дыхание оттепели на глазах одевало инеем болочок, въехавший с мороза. Густой пух прятал птиц и цветы, нарисованные яркими красками на выпуклых боках. Хороший возок. Ходкий, тёплый, надёжный...

Во всяком случае, иного дома Кербога не знал вот уже пятнадцать лет.

Железная труба, высунутая наружу, попыхивала дымком, запахами жилья. Внутри рдела жаровенка, дед Гудим стружил рыбу, дочь Арела толкла мёрзлый приварок, чтобы развести кипятком.

Изрядный локоть дороги, благополучно оставленный позади. Жидкое грево, готовое вот-вот наполнить желудок. Чего ещё?

Кербога не спешил в тёплую тесноту. Пользуясь мимолётным досугом, неторопливо похаживал кругом скоморошни, думал, бормотал вполголоса. Обретал слово за словом, испытывая восторги старателя, нащупавшего самоцветную россыпь.

Представление для Линовища, рождённое долгими переходами, было почти готово. О чём? Тот же Шарап выводил на подвысь насущное, такое, что случилось вчера и ещё владело умами. Кербога давным-давно избрал иной путь. «Мы андархи, – говорил он даровитому ученику, – и я не хочу, чтобы это имя стало лишь словом. Сейчас люди разобщены, сидят по заглушьям, забывая, из какой славной древности вышли...»

Шарап почтительно выслушивал – и слагал новую песню о заботах живого дня.

Рядом с ним Кербога порой чувствовал себя усталым и старым и начинал думать, что ученик, возможно, был прав.

– Упёрся сын... и царь – ни с места... Невесту... несовместно...

Кербога в сотый раз повторял стихи, которые собирался облечь действием на подвыси. Спотыкался на созвучьях, внезапно казавшихся грубоватыми. В Линовище обитали не самые изощрённые ценители красного склада, однако уповать, подобно Брекале, будто «слепой курице всё пшеница», Кербоге претило. Дар вдохновения за поблажки ох мстит...



– На свадьбе той широкой, – вглядываясь в гаснущие облака, бормотал стихотворец. – Жестоко? Одиноко?.. Да кого ж я здесь уговорю ослеплённого мне сыграть?

Арела высунулась из болочка, держа рыбью голову:

– Жучок! Жучок?

Кобель, всегда охочий до угощения, не отозвался. Арела чуть обождала, бросила голову на снег и скрылась. Кербога поправил треух, вновь пошёл кругом скоморошни.

– И всё ж назло... ммм... Но вопреки... судьбе жестокой... нет, было уже...

– Здравствуй, Кербога, – сказал негромкий голос из сумерек.

«Арела», – мысленно ахнул отец. Крутанулся, озираясь, ожидая воплощения разом всех страхов. Нигде никого. Лишь долетел сдавленный смешок. Совсем мальчишеский. Так смеются, когда с той же лёгкостью и весельем готовы бросить стрелу. Незримую, неслышимую... пока к оболочку не пригвоздит...

– Покажись! – выдохнул скоморох.

Голос, легко наполнявший храмовые своды, шатры и деревенские площади, прозвучал глухо, слабо, испуганно. Дверка за спиной Кербоги начала открываться. Скоморох, не оборачиваясь, с силой прихлопнул её. Внутри что-то поняли, затаились. «А толку? – глумливо спрашивал разум. – Видали крепость неприступную...» Всё верно, да глупые руки уже раскинулись поперёк входа. Бессмысленное усилие. Но как не сделать его?

– Уймись, Шагала, – проворчал другой голос, более взрослый. – Не затем пришли, чтобы доброго моранича в трус ввергать.

Кербога понял, кого опять вынесло к его скоморошне. Язык во рту стал сухим, шершавым и косным. «Я соблюдал... Я никогда о Владычице... ни словом, ни... почему...»

В потёмках, раза в два ближе, чем он предполагал, обозначились тени. Крупная и поменьше. Меньшая играла заряженным самострелом. Кербога сказал им то, о чём думал:

– Я обещал вашему учителю чтить Царицу Морану лишь так, как велено ревнителями, и от слова не отступал. Господин Ветер...

– Да он не знает ещё! – восхитился юнец.

«Кто не знает? О чём?! Круг Мудрецов... Ветер... наветники... кто?!»

– Всё давно изменилось, скоморох, – сказал старший. – Милостивая Владычица поцеловала господина и учителя нашего Агрыма Полночного Ветра.

Кербога стянул ушастую шапку. Осенил себя святым трилистником, замечая краем глаза: младшенький орудник беззвучно поплыл кругом возка.

– Да усадит на правое колено душу лёгкую, душу верную... обласкает, обогреет, утешит...

– Мы помним, учитель Ветер почитал тебя особенным скоморохом, – продолжал тайный воин. – Оставь бояться, его рука по-прежнему над тобой. Вот только у нас к тебе взыск есть... новый учитель прислал должок доправлять.

– Какой должок?.. – прокаркал Кербога.

– Дочка у тебя, помню, красавица... – Младший вышел из-за болочка. – Что прячется от гостей? Вежеству не обучена?

...Бисерная вязь словесных созвучий, гусельные раскаты, лицедейские поверья, пугающие мирян... всё сжалось малой горошиной, покатилося во тьму.

«Арела...» Кербога поднёс руку к вороту, где висел на гайтанчике самый его могущественный оберег. Быть может, вовсе бессильный против этих людей.

– Уймись! – снова осадил старший младшего.

– Какой должок?.. – шёпотом повторил Кербога.

– А что не спросишь, кто новый учитель?

К Кербоге помалу возвращалось самообладание.

– Если Справедливая призвала лишь господина Ветра, а об ином ты не говорил, значит во главе воинского пути встал его благородный стень, зовущийся от людей Лихарем.

Младший орудник подтолкнул старшего, засмеялся:

– Ишь красно говорит.

Тот дёрнул плечом – похоже, товарища своего он едва выносил.

– Так вот, скоморох, сделалась у нас обида великая. Ты же помнишь злодея Кудашку, что по всей губе купцов разбивал?

– Как не помнить... – Однажды Кербога встретил кудашат в перепутном кружале. Повольнички, одичавшие в своём воруи-городке, слушали жадно, платили без скупости. – В чём же обида, вольный моранич?

– Смертью Кудаша мы воздали славу великим похоронам... а недавно и кудашат половину следом отправили, в Неустроевом затоне дело случилось. Тогда мы сведали, что злодеи добыли себе игреца, Галухой рекомого, и он им песню сложил. Про то, какой Кудаш был герой и слабым людям заступник.

«Галуха...»

– В том наше горе, что вот уже и учитель наш Ветер ко Владычице отошёл, а песни про него нет как нет. Про лютого разбойника по кружалам поют, а про источника великого молчат? Непорядок...

– Погоди, сын Мораны, – воздел рукавицу Кербога, успевший немного привести мысли в порядок. – На что было меня в тридесятих землях искать? Люди бают, Чёрная Пятерь сама отменные песни родит...

Орудники переглянулись, младший хихикнул:

– А вот это, скоморох, печаль не твоя. Сказано от учителя: хочешь дальше под нашей рукой по свету ходить, сложи песню, чтобы в пиру и в миру спеть было не срамно. Понял ли? Сложишь?

– Понял. Сложу, – выговорил Кербога. – Только... Известны мы не были, что Ветер... как так... что за невстреча погубила его?

Юнец исполнился подозрения, самострел глянул кверху.

– Тебе на что?

– Хлеб без притвора не выпекают, – сквозь зубы ответил Кербога. Прозвучало дерзко, но здесь он был в своём праве. – Кто похвалит песню, если я спою про отравленное вино, а на деле была стрела из засады?

– Вот мы тебя и...

– Молчи, Шагала!.. Учитель, хвала ему, так и уведомил: будет, мол, вопрошать. – И старший заговорил как по писаному: – Слушай же, скоморох, нашу притчу. Многих учеников наглядывал господин Ветер, но одного выделял. То орудьем вознаградит, то хватку покажет, которая всем прочим лишь годом позже дарилась... Унот неблагодарный стал чваниться, вздумал источника превзойти. Гнались по старой дороге... поворот скользкий... он и сбросил учителя с лыжницы в обрыв.

– А там пни. Ух, беготни было! – встрял меньшей. – Тот в утёк! Все мечутся, толку не знают! А я стрелой – р-раз! И палец...

– Уймись, сказано! В холоднице давно не модел?

– А ну тебя! Ты-то с ёлок снег обтрясал...

– В обрыв, – медленно выговорил Кербога. – Но как же... простой ученик... славнейшего воина...

– Потом лежал в расслаблении, спинуломав, – опять вставил Шагала. Кербога поклялся бы чем угодно: юнец готов был добавить «...и под себя ходил», но даже его наглости не достало. – Кого и как призывать, на всё воля Владычицы, – торжественно довершил ватажок.

Шагала протянул Кербоге ровно обрезанные берестяные листы, хорошее писало. Кербога взял безотчётно. Он пытался представить живого, деятельного, пытливого Ветра беспомощно искалеченным, умирающим... Не получалось.

– Ну? – спросил нетерпеливый Шагала. – Пиши уже, да мы и пойдём.

Кербога не сразу понял, о чём говорил моранич. Уразумев, не сдержал сухого смешка:

– Кошке и той девять седмиц нужно, чтобы родить!

– Ты дитя собрался вынашивать, скоморох?

– Или девка твоя? Это можно устроить...

– Сказано, до холодницы не доживёшь, сам прибью! А ты, дядька, говори толком!

Страх и смятение Кербоги как-то внезапно сменились вселенской усталостью.

– Я к тому, что срок потребен, – произнёс он почти безразлично. – Вам кузнец добрый нож разве за полдня сотворит? Если вправду нужна хорошая песня, возвращайтесь через седмицу. Я в Линовище буду.

Про ножи им оказалось понятней всего.

– Быть по сему, – решил старший.

Две тени растаяли в сумерках, лишь напоследок донёсся голос юнца:

– А как не совладает, чур, я... – и заглох, будто меховой рукавицей придушенный.

Арела ещё дважды окликала Жучка, но пёс так и не отозвался.

Наутро, прежде чем запрягать оботуров, Кербога с дочерью пошли по следам.

Искали недолго. Кобель лежал промёрзший, уже погрызенный вездесущими мышами, ласками, горностаями. Не спляшет под весёлую дудочку, не всунет голову Ареле под локоть. Было видно, где вошёл в него самострельный болт и где вышел, возбранив даже взвизгнуть.

– Он ведь упряжной был, – всхлипнула Арела. – К людям добрый... Зачем?

Кербога обнял её. Никчёмный, беспомощный, не способный никого защитить.

## Ненужный почин

Ветер избегал отмерять ученикам непереносимые сроки орудья. Лихарь взял такой же обычай.

– Стало быть, через седмицу в Линовище, – решил Пороша. – Сбегаем-ка до тех пор в Кутовую Воргу!

Там жили верные люди, там ждал отдых в сытости и тепле. А лыжники они с Шагалай были из тех, кому сто вёрст не крюк.

– Там до Шегардая с берега дострелить можно... – затосковал гнездарёнок. Он любил начертания земель и хорошо знал их.

– Покаянную тебе, а не Шегардай! – оглянулся Пороша, тропивший путь.

Держать ответ за орудье предстояло ему, а гулянки без дела и дозволения Лихарь вряд ли простит. Шагала поскущел и притих.

Ладно, в Кутовой Ворге тоже было на что посмотреть. У самого берега ярился, плевал свистящим паром кипун. Неосторожные льдины из белых становились сперва прозрачными, потом сквозистыми, наконец обращались в тонкое кружево, исчезали совсем. Такого кипуна в Чёрной Пятери не было, только за Дыхалицей, но тот к себе близко не подпускал. Булькал, буйствовал за широким кольцом очень ненадёжного льда. Шагала смотрел в бурую беспокойную маину, насмотреться не мог. Он никогда не видел столько открытой воды. Пороша – видел и помнил, хотя смутно. Он искал на берегу плоские камешки, бросал так, чтобы крутились, прыгая с волны на волну. Сперва получалось коряво. Пороша приноравливался, вспоминал.

Здесь была дальняя заводь большого морца, называвшегося Воркун. Где-то вон в той стороне, далеко за овидью, за туманами и каменными стенами, на семидесяти семи островах раскинулся Шегардай... недостижимый и желанный.

Со стороны ближнего двора опасливо подходил отрок, младший сын хозяина. Шагала стоял взрослый, неприступный, медлил оборачиваться. В деревне, где он когда-то жил, его били ровесники. Просто потому, что всякому нашлась бы защита, а у него, сироты...

– Позволишь ли, милостивец, слово сказать?

Пугливая почтительность мирян радовала Шагала. Он важно отмолвил:

– Бабки метать даже не зови. Лоб щелбанами распухнет со мной в пристенок тягаться!

Хотя, может, и стоило бы. Показать здешним, чей кон! Ладно, впереди почти седмица безделья, ещё уговорят.

– Не серчай, твоё степенство, я лишь спросить...

– И с нами уйти не порывайся. Волею Правосудной за обетованными и обидными скоро поезд пошлют.

Пороша оставил камешки, подошёл:

– О чём спросить хотел, Тремилко?

– А вот однова́ приходил к нам источник ваш, господин Ветер, – заспешил отрок. – Книжицу мне дарил... слово Правосудной. С ним ещё сын был... Ворон.

Орудники разом подобрались.

Тремилко испугался, зачастил:

– Господин Ветер ему сучонку было заручил, да не судьба вышла... Вот я и... Как он там, Ворон-то?

– Тремилко! – крикнул из ворот отец. – А ну, живо сюда!

Пороша поднял руку:

– погоди, домовладыка... А тебе, отроча, вот что скажу. Не попала ведь твоя собачка к нему? Ну и добро. Незачем такому доброй псицей владеть.

Помимо захожих орудников, в Кутовой Ворге ныне принимали ещё одного гостя. Горожанин, ехавший к родне, завёз привет и благословение родителям от сына, ставшего в Шегардае жрецом. Кроме изустного сказа, Комыня вручил письмо, но в Кутовой Ворге самым учёным был Тремилко, ради «Книги милостей» выучившийся читать по складам.

– Дай оглашу, – предложил в застолье Пороша.

– Сделай милость, батюшка.

Письмо оказалось написано очень чисто и грамотно, красивой строгой рукой. Пороша по достоинству оценил работу писца.

– «Кланяюсь вам на все четыре ветра, благоверные мои отик и мамонька, – начал он читать. – А также и вам, любезные братья мои Первуня да Тремилко. Ты, Тремилко, руку мою знаешь, поди, уже уяснил: не сам я это пишу, но помогает мне добрый господин Варакса, первейший в городе грамотник...»

Тремилко бочком, опасливо подобрался к грозному воину, заглянул:

– И верно... не брата рука.

– «Таково наше обыкновение, когда я болею и в глазах плывёт...»

Домовиха, девически стройная и столь же пугливая, прижала ко рту кулачок.

– Нас лечить учат, – похвастал Шагала. – Я, перед тем как на орудье идти, одному нашему во-от такой чирей изгнал!..

– «Зря страшишься, милая мотушь, – продолжил читать Пороша. – Я лишь немного простыл и милостью Правосудной скоро поправлюсь. Онамедни послан был нам студный денёк, ребятня снежками кидаться, а священство – на улицы, к Богам с мирянами петь. Тут я холоду и глотнул. Вовсе не стоило бы мне вас этакой безделкой тревожить...»

– ...Пока смотрели, пропал, как и не бывало его, чистая кожа осталась!

– «...Да вишь, собрался вашей стороной ехать добрый единовец наш Комыня, я и попросил господина Вараксу до малости моей заглянуть, чтобы вам понадёжнее быть в моей любви и молитве. А ты, милый братец Тремилушко, эту и прочие грамотки сохранял бы да с тщанием переписывал. Не моих словес ради, но для проучки бесскверному и красносмотрительному письму, коего образец ими даётся...» – Пороша опустил письмо. – Кто таков сей Варакса?

Тремилко вперёд взрослых высунуться не смел. Все посмотрели на Комыню. Шегардаец передёрнул плечами:

– А по Беде прибежал, когда полгубы в ворота ломилось. Грамотный – страсть, тем и живёт. Кому письмо, кому – дела выправить... Иным в суде помогает. Челобитную выправит, что поди откажи. Ради последнего камышничка закон истолкует – на белом оботуре не объедешь! Но это я вам, желанные, с чужих слов доношу, самого-то меня Владычица миловала. Ни суда не знал, ни тюрьмы и, за правду свою, да не узнаю...

– А вот не зарекался бы. От суммы да тюрьмы, – хохотнул Шагала. Сытый, непривычно добрый, разомлевший в тепле.

Комыня испугался. Съёжился, умолк.

Больше ничего занятного в письме не было. Кажется, молодому жрецу впрямь неплохо жилось за святым дедушкой, настоятелем шегардайских мораничей. Пороша, читая, ждал жалоб на Люторада. Он помнил, как Ветер с непреклонной учтивостью отвергал младшего Краснопева, желавшего на служение в Чёрную Пятерь. Лихарь, иступленик в вере, тоже звать его не спешил. «Мы служим Матери клинком и стрелой, Лютораду оружие – хвала и молитва, – вроде бы сказал он Хотёну. – Нешто охота пришла вместо воинского радения в хвалебники углубляться?»

– «...Засим остаюсь почтительный сын ваш и брат любящий, рекомый Другоня».

Имя было начертано своеручно, торжественными андархскими буквами. Если следовать правилам чтения, ими подразумеваемым, звучало красиво и гордо: Дроугоний.

К тому времени, когда Пороша кончил читать, Шагала уже спал, откинувшись на лавке. В доме верных можно было не думать о бдительности. Пороша сам был бы рад залечь рядом с товарищем и спать до завтрашнего полудня... вкусное пиво, выставленное хозяином, понудило отправиться для начала в задок.

Вылезая через порог в сени, он заметил, как снялся с лавки Комыня.

Тут же вспомнил: пока читалось письмо, горожанин всё смотрел на него, раздумывал, на что-то решался.

Решился, стало быть?

Вот Комыня вышел во двор – и Пороша, беззвучно приблизившись, ласково взял его сзади за шею:

– Ты, добрый человек, меня подслеживать взялся?

Горожанин хотел говорить, вышел писк. Пороша не сжимал пальцев, но шею мирянину сломал бы одним движением, и тот, понимая, едва смел дышать. Пороша убрал руку. Комыня, будто лишившись опоры, стёк на колени:

– Батюшка вольный моранич... позволишь ли о милости умолить...

– О какой такой милости?

Местнич заговорил, не поднимаясь с колен:

– Всё жёнка моя... В самую что ни есть Беду играть ко мне вздумала... Владычица людей наказывает, а она... зачала, дура... сама потом к Опалёнихе за умиральной рубашечкой бегала... а не помогло. Ну и родила вот мне... подарочек.

Пороша молчал, слушал внимательно.

– Тело рот разезает, а душа у Правосудной осталась. – Голос Комыни стал чуть уверенней. – Разрослась телушка... толста да проста... Коса – во... Пятнадцати годков только ложку держать... да ещё наспела недавно, ко всякому парню губищи тянуть взялась, а сильна – не уймёшь... С такой большуньей кто младших замуж возьмёт? Баба моя с Опалёнихой по сей день собачится, да толку...

Пороша спокойно спросил:

– Мне зачем рассказываешь?

Хотя на самом деле уже догадался.

Комыня тяжело сглотнул. Неворотимое слово – та же про́пасть, обратно не отшагнёшь. Комыня словно бы покачался на самом краю... и ринулся в бездну:

– Противно воле Владычицы было это рождение... Восставить бы её волю...

Пороша молчал. Тень в сумерках, ни глаз, ни лица. Комыня тряскими руками потянул из пазухи свёрток:

– Великой платы не возмогу... да и трудов вам... земной руке... не дело, безделица...

## Улица Днище

Насмешка была в том, что кратополая одежда мораничей, скроенная для свободы движений, была во многом схожа с платьем противных им скоморохов. Только глумцы для своих представлений и плясок рядились в яркое да цветное: не хочешь, заметишь. Другое дело тайные воины, избравшие суровость портов. Пришёл из сумерек и ушёл, никем не досмотренный!

После привычных заплатников мирская одежда, заимствованная в Кутовой Ворге, была неудобна. Длинные полы хотелось воткнуть за пояс, чтобы не мешали скорому шагу. Орудники так и поступали на безлюдной дороге.

– Чур, я волю исполню! – канючил Шагала. – Ты всему умудрён, а мне проучка потребна!

Присутствие Комыни его не стесняло.

– Я болючую болесть призывал уже, отзывал... У тебя которое орудье, а у меня? Чур, я, ладно?

Хотелось щунуть его, но возле саней Кербоги Пороша уразумел – этот так и будет мозжить, доколе рукавицу в рот не вобьёшь.

– Оглядимся, видно будет, – буркнул он наконец.

Комыня жил в небогатой части Ватры, у самой Ойдриговой стены. Его улица, рекомая Днище, была памятью стародавних времён, когда на лесном берегу возводили свои кабаны чумазые углежогги. Теперь уголь для горнов выжигали далеко, на бедовниках. В куту держали верх кузнецы, а улица Днище извела запустение. В студные дни её до середины затягивало туманом.

Миновав Южные ворота, трое почти сразу свернули с Полуденной на улицу Третьих Кнутов. Комыня стремился поменьше мозолить глаза соседям, оттого вёл тайных воинов за углами. Пороша никогда не сознался бы, но, пожалуй, был ему благодарен. Орудные пути заводили его на купилища и в большие деревни, но в город – доселе ни разу. Гомонящее многолюдье стáмливало хуже бесконечных вёрст стужами. Давило, лишало ясности мыслей. И это ещё будень стоял. Как же тут в торговый день всё бурлит?..

Шагала не зря вникал в начертания. Когда пересекли Царскую, он сразу спросил:

– А что, здесь вдоль стены улицы Кнутов нету? Четвёртых, примером?

– Это, батюшка вольный моранич, от нашего обычая казни обходом, – пояснил Комыня. Шагала ему годился в младшие сыновья. – За Позорными воротами осуждённику дают первых кнутов... потом ещё у Восточных и Южных, а возле Последних быют уж вдосек, на то они и Последние.

Пороша сообразил: речь шла о тех самых кнутах, которых, по легенде, отведаль когда-то первый котляр. Странное было чувство. Наверно, оттого, что, уходя на орудье, ни о каком Шегардае они думать не думали.

– Наша казнь краше, – похвастал Шагала. И размечтался: – А когда теперь обходом сечь будут?

– Сами не знаем. Старцы твердят, царевича торжественной казнью почтить бы, да где же для неё злодея найти?

Ближе к стене улица Днище лежала топкая и расквашенная. Некогда надёжную мостовую давно растащили по камешку, унесли туда, где нужней. Оконечные дворы, куда навевывался туман, стояли покинутые. Комыня со спутниками миновали распахнутые ворота. Внутри отдавалась размеренная артельная песня, скрежетали, покидая вековые места, замшелые каменные отёски.

Чем дальше в глубину кута, тем опрятней и пригожей становились жилища. Пороша уже начал угадывать, в котором из них предстояло исполнить любезное Владычице, когда впереди застучали колёса. Из переулка вывернула ручная тележка. Паренёк, кативший её, сдёрнул валяный колпачок:

– Добро тебе на четыре ветра, дядя Комыня! И вам, гости желанные.

Он ловко управлялся с тележкой, гружённой закутанными горшками.

– И тебе, Верешко, – чуточку суетливо отозвался Комыня.

У Пороши внутри ёкнуло. Ох, ненадобна была эта встреча! Теперь не получится скользнуть безликими тенями в толпе. На них обратили внимание. Назвали гостями. Присмотрелись, запоминая...

«Напужку попусту не бери. Ты – обычный захожень!» – сказал над ухом голос учителя. Не Лихаря голос. Ветра.

– Вот, набормлину помочанам везу, – говорил меж тем Верешко. – Я же верно иду?

Спросил из вежливости. Оклики трудников, удары киянок были отлично слышны. Комыня, кивнув, махнул в сторону стены и ляпнул неизвестно зачем:

– А я вот давних знакомцев встретил нечаянно, к себе зазвал.

– Путь вам дорожка, желанные, – поклонился Верешко. – Есть у нас дворец с теремами, есть Воркун с кипунами, наши гадалки будущность зрят, а кому-то мил воровской ряд. Мошну покрепче храните, добрую весть к себе уносите, в торговый день опять к нам спешите.

Трудясь на городских стогах, нахватаешься от ночевщиков с водоносами. Парнишка покатил тележку дальше по улице. Повёз трудникам горячую снедь. Шагала проводил его глазами, самонадеянно предложил:

– Занадобится, я этого Верешка потом разыщу.

– Подите, гостюшки, пожалуйста...

– Здорово в дом, – отозвались мораничи. – А ты, государыня хозяйка, будь здорова, как вода, богата, как земля, плодovита, как свинья!

Комыниха оказалась под стать мужу. Сухонькая, до срока увядшая в кручинной и беспросветной гребте. Пороша отметил: правая рука у женщины недавно была сломана, срослась плохо, неправильно. Он сразу покосился на Комыню: да ну?.. «...Сильна неумерно», – всплыло в память услышанное вчера. Пороша нахмурился, стал ждать, что ещё скажут. Комыниха по своему поняла косой взгляд:

– Прости, гость желанный, это я, дура, в погребке оступилась...

Комыня словечка не сказал ей про то, кого привёл и зачем, но речи не всегда бывают нужны. Когда супруг, с которым прожила двадцать лет, возвращается с полпути и бестолково хлопочет, мечется, говорит чужим голосом, не смотрит в глаза...

Она собирала им на стол угощение, а руки дрожали. Тёмным нутром уже всё поняла, но до рассудка допускать не хотела. Заслонялась чистой скатертью, торопливо выставленной квашениной, грибами, печёной сомовиной. Кто хлеб-соль делит, тот вступает в родство, а родня родню ведь не тронет? Не тронет?..

Двое чужих ели спокойно и с удовольствием.

Почём было знать простой бабе-мирянке: Правосудная давно разрешила свои чада от всех людских уз. Ибо горе тайному воину, которого эти узы могут стреножить.

Комыниха несла на стол кувшин сладкого домашнего пива, когда из сеней в повалушу неуклюже влезла большунья.

Именно такая, какой представала по рассказам отца.

В неполные пятнадцать она вымахала ростом чуть не с Порошу. Коса – что его рука у плеча. Сама дебелая, в калкане тугого крепкого сала. Лягушачий рот, глаза над красными наливными щеками – пустые, как пуговицы.



Охти-тошненько!.. Воистину – плоть без души. Дремучие похотенья, не знающие узды. Сторонним людям гадливый ужас, родителям вечный стыд, несметные муки.

«Знает Владычица, кого и как покарать... И куда свою земную руку направить, наказание отзывая...»

Между тем пустые глаза оказались на диво зоркими. Девка заметила накрытый стол, двоих пригожих гостей. Младенчески заулыбалась, пустив на подбородок слюну. Устремилась вперёд.

Мать бросилась впереймы, протянула комочек соложёного теста:

– Дитятко, а вот пряничка! Пряничка!

Это слово неразумная понимала. Отвлеклась, села с матерью, лишь насадно охнула скамейка в бабьем куту. Занялась лакомством. Мать обняла детище, стала гладить по густым масляным волосам. Комынична сонно прижмурилась, завесила нелюдской взгляд длиннющими ресницами... Лицо стало почти умильным, только челюсти знай мололи. На губах пузырилась липкая коричневая слюна.

Шагала положил ложку. Лёгкий щелчок – и ресницы мигом взлетели, девка вновь узрела стол и гостей, вспомнила, подалась со скамьи. Комыниха попробовала унять, но куда! Дитятко махнуло толстой рукой – мамонька опрокинулась со скамейкой, а девка, не оглянувшись, навалилась брюхом на стол. Росомашьими пятернями гребла снадное, пихала в рот.

«Направь руку, Владычица...»

Вёрткий Шагала уже выскользнул из-за стола. Играючи шлёпнул по обширному задку под простой грубой рубахой.

Дурочка обернулась к новой забаве. Шагала плясал перед ней, кривлялся, влёк за собой. Все тайные воины умели плясать. На орудьях Владычицы нет дел честных и презренных, есть полезные и бесполезные. Вот и пляски сгодились. Девке понравились неистовые ужимки Шагала. Заухала, замычала, стала хлопать себя по брюху, по тугой, как репа, груди. Потянулась за ним вон из дому.

Пороша с Комыней подняли Комыниху, усадили. Женщина плакала, трогала содранный висок, порывалась за дочерью.

– Не надо бы, мамонька, – сказал Пороша спокойно. Подумал, добавил: – Сын Мораны твоё ребя не обидит.

Комыня обнял жену... сам вдруг всхлипнул. Не то с облегчения, не то с печали.

Шагала вернулся малое время спустя. Помятый, ошалевший, в тельнице, разорванной аж до пупа.

– Славься, Владычица, – произнёс уже без кривлянья. – Ласков поцелуй Матери... дарует сон беспечальный.

Неумная утробно гукала в чёрном дворе, ворочая под навесом чурбаны дров. Громоздила один на другой, возводила столпы, разваливала. Играла в бирюльки.

– Воистину, – сказал Пороша.

Никто на улице не должен был связать успенье Комыничны с приходом «старых знакомых». Оттого плоти, лишённой души, предстояло скончать биение жизни ближе к закату.

В сенях, таясь неведомо от кого, Комыня из полы в полу отдал Пороше весомо звякнувший свёрток.

## Глиняный мостик

Было их четверо. Слепой, хромой, да третий горбатый... да юркий, отроческих статей поводырь. Имя поводыря не всякому укладывалось на язык: Хшхерше. Он утверждал, будто происходит из морского малорослого племени, но каждому встречному поди объясни. Нйзень, ёра, кувика!

Нынешний торговый день их щедро вознаградил. Зря ли Хшхерше считали самым ловким на язык среди четверых! Это он придумал облекать сплетни водоносов в попевки. Хлёсткие и короткие. Такие, примером:

*Вот купец, богат на диво!  
По трудам ему нажива!  
Он объехал целый свет,  
А сыночка рядом нет!  
Нехорош возрос помощник.  
Люди добры, киньте грошик!*

Кувика были люди учёные, битые. Имён-прозваний в попевках не возглашали. Молодой Радиборович всё равно почему-то кинулся в кулаки. Спасибо людям, оттеснили. Подняли гусельки, закрутили съехавшие шпенёчки, вернули Клыпе:

– Гуди знай, хроменький.

И он стал бросать руку вверх-вниз. Горбун Бугорок стукнул в бубен, слепой Некша запел:

*Дочку мать драла за косу,  
А теперь подмоги просит,  
Потому как сын-надёжа  
Без гульбы прожить не может.  
К нищете не счесть дорожек.  
Люди добры, киньте грошик!*

– Так это ж про вдову Опалёниху!

– Бегали к ней напрасных детей замертвлять, ныне стыдятся.

– А помните, желанные, как от дочери отреклась?

– Ещё бы не помнить!

– А теперь: я не я, дочка снова моя.

Люди охочи смеяться. Особенно глупости и неурядице за соседским забором.

– А дочка что?

– А она матери: нешто Киец мой трудится, чтоб Хвалько в кружале гулял?

– Ишь твёрдости набралась. А вдова?

– А вдова: вот тебе материнское отвержение, живи киловата, не понесла да не понесёшь.

– О как! А не Вяжихвостка языком наплела?

– Правда истинная, желанные. Баба Моклочиха при том была, своими ушами слышала.

Гудела, вынося попевку, зубанка Хшхерше. Бренькали гусли, лад не в лад стучал бубен. Было весело, потешно, задорно, всё удавалось. Некша допел слова, нашарил пыжатку, повёл вместо голоса. Песня, красы ради, смело забиралась в верха, и они давались Некше через великую силу – устал. В распыленный колпачок сыпалась мзда, да не подаяние убогим, а полновесный почёт.

Теперь трое шли к себе на Отоки, где ютились приживальцами у вдовушки Карасихи. Скоро Глиняный мостик, потом Ломаный, потом Рыбный...

– Так дело пойдёт, – задумался Хшхерше, – в людях мыкаться перестанем, свой дворик выкупим.

– На Ржавой где-нибудь. У болота.

– Широкий двор, два шага вдоль...

– Если млад Радиборович не отнимет да обизорники не налетят.

– Тьфу на тебя! Не поминай даже!

– Нищий забот не ведаёт, богатей с оглядкой живёт.

– Двор будет, жениться захочется!

Улица Клешейбойка незаметно втекла на Глиняный мостик. Здесь была не самая богатая и красивая часть города, но всё-таки дома за заборами и псы во дворах. Чтобы войти в такой двор хозяином, четырёх жизней не хватит.

– Добрый господин... – вкрался в плеск ворги бесцветный шепчущий голос. Что-то коснулось подола Некшиной сорочицы. Только потому и заметил, что привык жить осознанием.

Кувьки обернулись все разом. Каждый поклялся бы: под облокотником древнего мостика только что гулял ветер. Отколь взялся оборванец, угодливо припавший на колени? А вот взялся. Щурил взгляд сквозь серые патлы, тянул руку в свисающем нарукавнике. Не то сам боялся, не то стергся их напугать.

Хшхерше отрезал:

– Ступай к уличанской молельне, там подадут.

– Всякому подай, сами с чем пойдём? – буркнул Клыпа.

– К нам в долю хочет!

– Да он раб, – пригляделся Бугорок.

– Рабу у чужих кланчить – хозяина бесславить.

– Иди отселича, пока в воду не свергли!

Вот это в Шегардае любили. Вреда чуть, а плеску! А сраму! Здесь даже молодецкие поединки вершились на мостиках – кто кого сшибёт ударом весла.

Раб съёжился.

– Ты мог бы... петь, – расслышал чуткий слепец. Расслышал, обиделся:

– Что болтаешь? Я полдня людям пел.

– Ну его, Некша. Дай-ка отпинаю, и пошли.

– Чище... краше... голос выпустить...

Услышат ли человека, который одно словечко еле выталкивает, пока ему – десять? Цепкие руки схватили за штаны, за драную гуньку... брызги столбом до самого облокотника!

Посмеявшись, кувьки двинулись дальше.

– Что не жить, когда в жменьке звенить.

– Будем так-то собирать, купим тебе, Клыпа, новый башмак...

– Мне?

– Тебе дёшево, потому что пары не надо.

– В крепких башмаках гулять, люди миловать перестанут.

– А мы не милости просим. Мы гудим-играем, люди нас за то награждают.

– Раньше тоже гудили...

– Раньше мы жалость людскую на себя обращали. А теперь торжане теснятся, слушать хотят.

– Никто таких песен не слагает, как Хшхерше!

Ломаный мостик прозвался так оттого, что сопряг две улицы не в створ, а с заметным изломом. Каменный перебор, годный под ряжи, нашёлся лишь далеко в стороне. Жители Лобка утверждали: Ойдриг всыпал нерадивым мостникам кнутов от души. Показывали даже место,

где пороли строителей. Рыбаки из Оток грозили наветчикам кулаками. Их послушать, Ойдриг сам указал отмель: «Здесь ставить велью. Зане – лепота!»

В годовые праздники давний спор вспыхивал наново. купцы и лодочники встречались на Ломаном и махали потесями, выходя кут на кут. В вёдрые дни отсюда любовались Торжным островом, гребнистыми теремами дворца. С Ойдригова Опина вид был прямее и краше, но там всегда пронизывал ветер, а Ломаный хоронился в заветерье.

Кувыки любили останавливаться на рукотворной площадке, где смыкались локти моста. Задержались и теперь. Присели, вытащили снедный добыток, бурачок пива.

– Не пойму вот, как люди опричь Шегардая живут? – отламывая кусок расстегая, задумался Бугорок. У него, обделённого шеей, голова сидела прямо в плечах, вздёрнутых словно бы вечным недоумением. Горбун смотрел вдаль, где плясали, рвались на ветру хвосты холода, падавшего извне. Меж ними гордо высились деревянные башенки, увенчанные жестяными махавками. Лепота! – Торгованов послушать, за стенами тьмущая темень, а вздумаешь отцедить, как есть ледышки обронишь.

– Отколь же сами торгованы являются? – фыркнул рассудительный Клыпа. – И тьма им не тьма, и ледышками никого не распёрло. Товары привозят, значит живут.

– Живут, болотник жуют. – Хшхерше вытянул за хвост вяленую шемаю, зубами разорвал вдоль. – Чтоб я от батюшки седого Воркуна добра искать отбежал!

– А и незачем оно тебе, отбегать. Ввадимся собирать, как сегодня, ещё женим тебя.

– А следом Некшу. Молодые вы у нас.

– Что примолк, Некша?

– А не ешь почто?

Слепец, чья стать позволяла ему черёдничать с водоносами, сидел, обхватив руками колено. Хмурил светлые брови.

– Парнишку не утопили хоть? – спросил наконец.

– Которого?

– Ну того. Докучного.

– Парнишку?

– Такого не знаем, видали коржавище сивое...

Некша отмахнулся. Он знал лучше.

– Я не слышал, чтобы барахтался. Всплыл ли?

Хшхерше отхлебнул пива.

– Да кто его хватится, кощея заплёванного.

– Экий ты смелый! А хозяин спрашивать придёт?

Некша расцепил пальцы, собрался встать:

– Вернуться надо бы.

– Тебе гребтится, – озлился Хшхерше, – ты и ступай, а нам незачем.

– И пойду. Послушаю, людей расспрошу.

– Да вынырнул он! Под мост уплыл!

Некоторое время трапезничали молча. С Воркуна пахло водорослями, простором, свободой. Ветер нёс пелены тумана, то пряча, то открывая заросли Дикого Кута.

– Зря тын воздвигли, – сказал Бугорок. – Кругом дворца.

– И что?

– Мстит любоваться.

– При Ойдриге не огораживались.

– При Эдарге черта была положена, докуда торг, вот и всё.

– Теперь по-новому будет.

Славный Ойдриг, объявивший островные вольки каменными стенами, возведением внутренней твердыни не озаботился. Поставил на Торжном красные палаты для милой царевны,

ради коей, как говорили, всё Левобережье взято было на щит... Срединного оплота в Шегардае не было до сих пор, да и не надобился. Никакие враги под стенами с оружием так и не встали.

– Державец, говорят, присоветовал.

– Он моранич ведь, с воинского пути?

– Смыслит, верно.

– Поди, наслушались про неурейства наши после Беды... – рассудил Клыпа.

– Да кто сейчас прибежит в ворота ломиться? Народишку в губе, почитай, совсем не осталось.

– Опять ты, желанный, про тьму тьмущую. А кто саночками Привоз-остров заплонил и на торгу юрит, инно мостовой не видать?

Некша в споры не лез. Тёр лоб, трудно думал о чём-то.

Дрянной кощей по прозвищу Мгла в самом деле вынырнул под мостом. В былое время он хорошо плавал, а под водой пересидел бы любого здешнего рыбака. Беда только, стрелные раны заживают небыстро, непросто. В груди натягивалось, болело, грозило рассестись.

Зато вода, против ожидания, оказалась вовсе не ледяная. Где-то вблизи точился тёплый кипун. Глиняный мост, несший улицу, был широкий, с низкими сводами, подмостье напоминало каменную пещеру. В нескольких саженьях по ту сторону дрожало пятнышко света. Там, впереди, ворга сулила укромный куток. Можно выбраться на берег, отжать рубаху и гуньку. Мгла поплыл к манящему пятнышку. Ждал боли из порванного беложилия, но в воде руки были легки. Загребали мерно, послушно... казались сильными...

В гулкой каменной дудке играли, отдавались голоса и звуки с моста. Мгла отчётливо слышал, как, уходя, шутили и переругивались кувьки. Вот явился на смену бойкий оклик разносчика, предлагавшего лакомые обварёнки.

А потом...

– Как думаешь, легла уже девка? Или всё бирюльки ворочает?

– Должна лечь. Я по замыслению жало пустил. Как Лихарь... как учитель показывал.

От этих голосов вода под пловцом мало не расступилась. Такова была причуда узкой трубы, вместившей звуковые дрожания. Казалось, два старых знакомца беседовали прямо над ухом. Тело вмиг наполнилось болью, начиная с вылуценных суставов. Разуму понадобилось мгновение, чтобы всё поставить на место. Тихо выдохнув, Мгла завис в воде под серединой моста. Стал слушать. Это он по-прежнему умел лучше всех.

– Где, говоришь, мы ещё не были?

– В «Зелёном пыже».

– Спросим кого или крепко начертание помнишь? А чешуйки остались ещё?

И опять всё про пиво, про какую-то девку. Постепенно голоса отдалились, став неразличимыми. Когда снаружи остался лишь уличный гомон, колёсный скрип, птичий крик, Мгла поплыл дальше на свет.

Шегардай изначала стоял на островах, гляделся в проливы. Не каждый двор хвалился телегой или санями, но лодки были у всех. Когда земные корчи, вызванные Бедой, возмутили Воркун солёными кипунами, горожане сразу распознали опасность. Небо ещё кровоточило огнём, а в воду уже сыпались камни. Морской Хозяин веками пестовал Шегардай. Пришёл черёд людям спасать морцо, не дать превратиться в безжизненную ржавую лужу. И ведь отстояли, добротнo разгородив островняк. Даже в матёром плёсе умудрились сделать заплоты – и с тех пор сохраняли неукоснительно. Оттого в Шегардае были замкнутые ворги, где стоял густой пар и трудились на шатких мостках черпальщики, мокрые, полуголые. На задворках пузырились неведомой жизнью буро-зелёные шмарники. Там поглощались все городские отходы... по слухам – даже иные человеческие тела.

И были прозрачные заводи с каменными ступенями до самой воды. Со ступеней благочестиво крошили жертвенный хлеб, а из глубин людям отвечали радужные сполохи. Завет с Морским Хозяином соблюдался не на словах.

Маленький отплёсок, где в конце концов вылез на берег кощей, ластился к одному из старинных валов. Наследники Ойдриговых зодчих не покинули камни валяться безобразной грудой. Сровняли, по ниточке вывели опрятную стенку, сверху сделали переход.

Забравшись на привалок, раб стянул липнувшие к телу лохмотья. Отжать воду оказалось непросто. Грубый жгут выворачивался из двуперстных клешней, вередил пясти. Пока совладал – голова кругом пошла. Мгла присел отдохнуть.

Начал думать о странной оговорке Шагала.

Западный берег, зелёный от разросшихся мхов, зиял глубокими ямами. Словно кто готовил землянки, да вселиться не довелось. Мгла потихоньку встал. Опёрся на костыль, полез смотреть.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.